

ПРИГЛАШАЕТ «СПОРТПРОГНОЗ»

Эта новая спортивная лотерея предлагает любителям спорта проверить свои знания и испытать свою удачу в ее тиражах.

Выигрывает тот, кто сможет угадать исход встреч не менее 11 из 13 пар команд — участниц данного тиража (тура) чемпионата страны по футболу, хоккею, волейболу, баскетболу или по другим игровым видам спорта.

Билеты лотереи «Спортпрогноз» продаются в киосках и пунктах «Спортлото». Стоимость бланка билета 2 копейки. Билет содержит шесть вариантов заполнения, два из которых нужно заполнить обязательно. При сдаче заполненного билета в киоск или пункт «Спортлото» играющий обязан оплатить количество заполненных вариантов. Стоимость одного варианта — 30 копеек.

Максимальный выигрыш в лотерее — 10 000 рублей.

В выигрышный фонд каждого тиража поступает 50 процентов стоимости оплаченных ставок по билетам, поступившим для участия в этом тираже.

Доходы лотереи направляются на строительство и реконструкцию спортивных сооружений, на организацию физкультурно-массовых мероприятий.

**Главное управление
спортивных лотерей
Госкомспорта СССР**



№ 10

1988

**Реваз ИНАНИШВИЛИ**

**БЕЛЫЙ ОТСВЕТ
СНЕГА**

**МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»**

Реваз ИНАНИШВИЛИ

БЕЛЫЙ ОТСВЕТ СНЕГА

РАССКАЗЫ

Перевод с грузинского

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1988

Реваз ИНАНИШВИЛИ

Известный грузинский писатель Реваз Инанишвили родился в 1926 г. в селе Хашми. В 1956 г. окончил Тбилисский государственный университет. Первые рассказы опубликовал в начале пятидесятых годов. С тех пор издано немало книг, отмеченных высоким художественным мастерством и поэтичностью. За одну из них — «Далекая белая вершина» — писателю в 1977 г. присуждена Государственная премия им. Шота Руставели. По справедливому замечанию критика Г. Асатиани, в рассказах Инанишвили «человек вылеплен добрыми руками».

Ревазом Инанишвили написаны сценарии для нескольких кинофильмов, в числе которых такие известные, как «Древо желания» и «Пастораль».

РТВЕЛИ

Опишу тебе ртвели, причем сделаю это с огромным удовольствием, с улыбкой от первого и до последнего слова.

У Натэлы есть брат, на целых девять лет младше ее, только что вернувшийся из армии смуглый Жерар Филип. Его жесткие, коротко остриженные волосы так густы, что в них не запустишь даже пальцев. Встретившись с тобой взглядом, он отводит глаза и смущенно улыбается. (Я хорошо излагаю?) А когда он что-нибудь подбирает с земли, наклоняется так упруго и гибко, что кажется — вот подхватит свою находку и со свистом зашвырнет невесть куда.

Только мы приехали, меня сразу повели в марани, старый, прохладный, с деревянными опорами и выстланным кирпичом полом. Этот Жерар Филип (настоящее его имя Зураб, но ты знаешь, что мне не доставляет удовольствия произносить это имя) встретил нас в кевври — врытом в землю огромном кувшине, — освещенный пламенем свечи и красноватым отсветом глиняных стенок... На нем не было ничего, кроме синих плавок. В левой руке он держал маленькую сковородку с зажженной свечой, а в правой — обмотанную тряпьем палку, правая была поднята чуть выше; коленопреклоненный, как в молитве, он законопачивал кевври. Ты, верно, не знаешь, как конопатят кевври: на козьем жиру варят чистую, просеянную через сито золу, варят обстоятельно, долго и горячим загустевшим вафевом промазывают все подозрительные трещинки и лучики. Догадалась, для чего это делается? Чтобы из кувшина не утекло вино. Этот смуглый Жерар Филип снизу глянул на нас и при свете свечи улыбнулся своей доброй детской улыбкой. Натэла заахала и заасюкала над ним, как над маленьким:

— Ах ты мой хорошенький, ах мой родненький!..

Жерар Филип смутился и передернул плечами, как от холодных брызг, — при этом его мышцы затрепыхались, как птенцы в гнезде. Он ближе наклонился к красноватой стенке кувшина и продолжал заниматься своим делом.

От резкого перехода с желтого солнечного сияния в сумрак марани я точно оторопела и потерянно озиралась. Меня слегка знобило, как от холода. Казалось, я попала к язычникам. И этот врытый в землю огромный кувшин, дышащий запахом воска и можжевельника, и голый

юноша в нем словно находились в далеком прошлом, где исполнялся какой-то сакральный ритуал. Это впечатление усиливалось тем, что ниши в стенах были уставлены черными, закопченными кувшинами всех размеров, на закопченных стенах висел старинный винодельческий инвентарь и крестьянские орудия: косы, серпы, черпаки, скребки, пила; опорный столб посреди марани и матицу украшали изображения коров и быков; за распахнутыми дверями, на припеке, весь облитый солнцем, стоял большой красный петух. «Кукареку!» — крикнул он, словно удивившись мне; кувшин гулко откликнулся на его крик, мы весело расхохотались, и дальнейшее я видела как бы сквозь туман этого первого впечатления.

А видеть было что!

Пришел отец Натэлы, тоже густоволосый, сильный и подвижный мужчина. Пока мы с Натэлой угощались, отец с сыном, с Жераром Филипом, стащили с чердака плетенки-годори — огромные, старые, каждая чуть не с человека ростом, опрокинули их под тутовым деревом, возле опрятного стога, взяли толстые прутья и принялись лупить по плетенкам. Если и пристала к ним какая пыль или грязь, ее сперва выбили палками, потом водой окатили и смыли все.

Вечером отец Натэлы привел козу — длиннородую, большеерогую, косоглазую, тоже какую-то языческую. Ее привязали к тутовому дереву, с тем чтобы завтра резать. Коза стояла, расставив ноги, упрямо опустив голову, и быстро-быстро шевелила губами, словно знала, что ее ждет, и повторяла какие-то ведьмачьи заклинания.

Пришли из стада спокойная корова и красивая нетель. У опрятного стога сидела черная дворняга и, довольная, озиралась. В стусившихся сумерках прилетела сова и села на тутовое дерево.

Мы ужинали на веранде. Мать Натэлы с тайной гордостью выложила на стол длинные — с локоть — домашние хлебцы; отец Натэлы нарезал продолговатыми кусками пахучий тушинский сыр, наполнил стаканы; когда он говорил тосты, с его лица не сходила улыбка. А на тутовом дереве сидела сова и время от времени ухала.

Зураб не стал дожидаться окончания ужина, вынес из дому двустволку, перевесил через плечо, с детски застенчивой улыбкой попрощался с нами и ушел в виноградник — охранять созревший виноград. Я знаю, ты почтешь меня за глупую, но мне все-таки показалось, что не за тем он шел в виноградник: придет, сядет, станет тихонько насвистывать, и выйдет из темноты на свист горячая, как уголек, белозубая колдовка, сядет ему на колени, и всю ночь напролет будут целовать и ласкать друг друга — сильные и молодые.

Мы с Натэлой легли спать на веранде под вьющимися вдоль карниза побегами лозы ркацители. На чистое небо выкатилась луна. Теперь на небе была луна, на дереве ухала сова, и корова спокойно вздыхала в хлеву. Тишина стояла удивительная, ни один лист не шелохнулся, и все-таки мне не спалось. Заголосили по селу петухи, потом еще раз заголосили, и наконец я кое-как уснула.

Проснулась как умытая родниковой водой. К утру так похолодало, что я видела свое дыхание. У меня не было с собой ничего теплого, пришлось натянуть Натэлин свитер. Он был мал, не налезал. Натэла смотрела на мои мучения и покатывалась со смеху.

Отец Натэлы и Зураб, Жерар Филип, к этому времени уже зарезали козу, подвесили вниз головой к ветке тутового дерева и даже успели ободрать. Мать Натэлы несла к дому большую миску с внутренностями. Зураб стоял на табурете и приколачивал к тутовому дереву козы рога.

— А это зачем? — спросила я.

— Да так, — с обычной застенчивостью улыбнулся Зураб. Он прибил рога, прыгнул с табурета и снизу разглядывал свою работу.

Корова и нетель ушли со стадом. Собака терзала красную кость.

— Та-ак, теперь котел поглубже да огонь пожарче, — с какой-то непонятной, заговорщицкой улыбкой проговорил отец Натэлы и повторил, ухмыляясь: — Хороший котел, побольше луку, побольше перцу, потом доброе вино, и...

Натэла соорудила недовольную гримасу. Я поинтересовалась, чем вызвано ее недовольство. Она отвела меня в сторонку и с той же заговорщицкой улыбкой, что и отец, объяснила: оказывается, козлятина сильно действует в известном смысле как на мужчин, так и на женщин. О, эти сонные кахетинцы! Как улыбаются они, стоит хоть чуточку приблизиться к чему-нибудь такому! Зураб орудовал с охотой и готовностью, убедившей меня в справедливости ночных предложений, — какая уж тут охрана виноградаря!

Приехали еще гости — мужчины, женщины, дети. Машины и люди появились и в других дворах. Стало шумно, многолюдно. Мы наскоро перекусили и отправились в виноградники, кто на машинах, а кто пешком.

Пока шли по проселочной, Натэла окликала работавших в виноградниках:

— Удачи и урожая вашему ртвели!

— Дай тебе бог, Натэла! И вам желаем щедрого урожая! Отведай-те-ка нашего винограду!

— Так ведь и мы виноград собирать идем, люди!

— Наш — совсем другое дело. У нашего — особый вкус! — И протягивали отборные гроздья.

Несколько раз нам вслед прицокивали языками и восклицали с завистью:

— Благо вашему виноградарю! Благо!

— Чего это они? — не поняла я.

— Щедрая, говорят, у вас гостья, богатая, — улыбнулась Натэла. — Это они на твою полноту намекают.

— Лучше над собой посмейтесь, — огрызнулась я.

Взошло солнце. И знаешь, откуда оно взошло? Над селом высится гора, вершина у той горы, как глубокая седловина. В той седловине из

сочных зеленых трав выкатилось прохладное, но необыкновенно красивое осеннее солнце.

Приступили к сбору. Здесь виноградники такие (и, к слову сказать, мне это очень нравится): в основном, разумеется, лоза, но среди виноградных лоз стоят персиковые деревья, а кое-где и груши, и яблони. В междурядьях сажают фасоль, огурцы и даже разную зелень. Виноградник Натэлы отличается еще тем, что расположен выше всех, на взгорке. Поодаль тут и там разбросаны деревья — бук, граб, ясень. Выйдешь из виноградника, встанешь на край взгорка имотришь на другие виноградники, на всю раскинувшуюся перед тобой долину в серебристой дымке. В воздухе протянуты тоненькие сверкающие паутинки.

Разобрали корзины и ведра. Мы с Натэлой работали рядом. Срезали изогнутыми садовыми ножами подернутые инеем тяжелые, плотные гроздья саперави и складывали в корзину. Чуть влажная земля приятно пружинила под ногами. Стоило нам наполнить корзину, как тут же появлялся красавчик Зураб, подхватывал корзину и мигом опорожнял в выстроившиеся на арбе годори.

После утреннего холода солнце ласкало нас, точно искупало свою вину. Всем было весело: и взрослым, и детям, и гостям, и хозяевам.

Постепенно становилось жарко. Я сняла свитер и осталась в платье с короткими рукавами. Когда я возвращалась назад к виноградным лозам, из соседнего виноградника опять донеслось поцокивание и сокрушенно-завистливое:

— Благо вашему винограднику, благо!

Я невольно спрятала голые руки в листьях лозы. Наши взглянули на меня и засмеялись, блестя глазами, и, смеясь, продолжали работать.

— Сегодня кончаем! Надо сегодня кончать!

Все спешат. В междурядьях слышны гомон, смех и шутюканье, но работа спорится.

К трем часам ненадолго присаживаемся пообедать. Наш обед: жаренный на обрезках виноградной лозы шашлык из козлятины (он лежал на больших капустных листьях), круглые твердые помидоры, поздние огурцы и вино. Я несмело брала куски шашлыка, и женщины, глядя на это, весело заливались.

После обеда опять навалились на работу.

— Ну-ка, живее! Давай! Не зевай!..

Дети разбежались и теперь галдели где-то ниже, по склону. Зато родители Натэлы освободились для сбора винограда: стоило полюбоваться, как ловко они срезали садовыми ножницами большие гроздья. Мы старались не отстать, подбадривали и подзадоривали друг друга.

Целый стакан красного вина, горячее солнце, азарт работы, — и когда я наконец решила глянуть на себя в карманное зеркальце, я ужаснулась: самая ядреная деревенская молодка позавидовала бы моему румянцу... Обессиленная, я ненадолго присела, потом опять встала и до самого вечера ни разу не передохнула.

Близился вечер. То из одного, то из другого виноградника долетали взрывы веселых возгласов. Это значило, что там пошабалили. У нас тоже дело близилось к концу. Закатилось солнце, и мы закончили работу вместе с ним. Пятнадцать плетеных-годори стояли наполненные, как говорится, под завязку.

Я уже знала, что произойдет после ртвели, когда срежут последнюю гроздь: одна из женщин — самая цветущая и полная, ляжет в междурядье под лозой, вернее, мужчина повалит ее, чтобы на следующий год виноградник плодоносил большими гроздьями, тугими и плотными, как та женщина. Но кто она будет, эта женщина? Я была уверена, что как гостью меня не тронут. Тем более что среди родственниц Натэлы две, если не три, были явно полнее меня. Но вот ушла из междурядья одна из них, принялась поправлять волосы. За ней другая. У нас с Натэлой остались неубранными только две лозы. Показался Зураб, взмокший от пота, наработавшийся Жерар Филип, заглянул в нашу корзину — ждет, пока мы обшарим последнюю лозу. Все — обообрали, срезали.

— Шабаш! — сказала Натэла и расправила плечи.

Я думала, что этот застенчивый, как девушка, красавец наклонился за корзиной, а он, не разгибаясь, шагнул ко мне, выпрямился, ослабилась, правую руку по-крестьянски неторопливо занес мне за плечо, левую упер в бок — я только почувствовала, как ветерок пробежал по ногам.

— Такие же тугие и сладкие! Такие же щедрые! — Он на секунду прижал меня своим телом к земле, вскочил и под общий смех и возгласы одобрения исчез в зарослях винограда.

А со мной произошло что-то странное. Я не сразу поднялась. Натруженные руки и грудь тонко-тонко звенели.словно стая жаворонков выпорхнула из моей груди и прыгнула в небо. Я слушала их звон. Потом вскочила и, давась от смеха, бросилась под гору.

Вот какой ртвели у этих чертовых кахетинцев!

И теперь я нетерпеливо жду следующего урожая. Хочу увидеть, какие гроздья нальются в моем винограднике от нашего с землей соития. Ведь это будут первые плоды моей жизни, мой первый урожай, и очень хочется, чтобы он уродился богатый и щедрый...

В этот раз пропустите нас во главу стола, стройненькие и воздушные. Позвольте и нам разок высказаться!..

Не знаю, когда в ту ночь улетела сова. И ухала ли она, сидя на старом тутовом дереве...

ТЕБРО

Деревня, в которой выросла Тебро, находится выше Тианети, даже выше Артани; дома ее с пригорков смотрят на долину Иори.

Пока жива была мать (Тебро училась в третьем классе, когда мать умерла), она была счастлива. Забиралась на верхушку дерева и пела пес-

ни. А после смерти матери часто стала задумываться: все ее пугало — что с ней будет завтра и потом...

Отец Тебро, туповатый кряжистый мужик, землекоп и лесоруб, знающий в своей жизни только топор да лопату, отметил годовщину со дня смерти жены и тут же опять женился — вторая жена была узкоплечая, голубоглазая, с острыми локтями. Мачеха обращалась с падчерицей неплохо; Тебро не чувствовала ничего похожего на то, о чем рассказывается в сказках, и все-таки она часто прижимала руку к груди: то ей казалось, что ее маленькое сердечко совсем сжимается, вот-вот оборвется, то, наоборот, оно разбухает, не уместается в груди — еще немного, и перекроет дыхание и нечем станет дышать.

Вспоминая те дни, Тебро изредка говорит с грустной улыбкой: «Я не помню от мачехи ни побоев, ни криков, но то, что она не мать, я чувствовала хотя бы во время купания: она лила воду так, что я едва могла перевести дух и чуть не захлебывалась».

Деревня Тебро и сегодня маленькая; дети ходят в школу в соседнее село. Вот и Тебро окончила восьмилетку в том селе. Она выросла в славную девушку — невысокая, но ладная, стройненькая, с тонкой талией и красивыми зубами, — к отцу сразу зачастили сваты. Отец, этот туповатый кряжистый мужик, был доволен: с улыбкой поглаживал усы и, задрав голову, отвечал: «Малость погодите, люди добрые...» Малость — означало до осени.

На счастье ли, на беду ли, занесло в ту пору в деревню тетушку Тебро, сестру матери, она была замужем в городе. «Да вы что, темнота, не время ей о замужестве думать!» Схватила Тебро за руку, увезла с собой в Тбилиси, устроила в швейное училище и прописала — временно — на своей жилплощади. У нее была маленькая комнатка с крошечной застекленной верандой где-то на Лоткинской горе, в одном из распадков. Тебро не могла жить у тетушки, там и без нее было тесно — двое сыновей, пьющий муж, — и до окончания училища жила в общежитии. Она почти совсем оторвалась от деревни. Обходилась своей стипендией и никого не беспокоила. Разве что изредка, раз в месяц, ездила на родину, соскучившись по реке и просторам и маленьким братишкам и сестренкам, что народились у отца с новой женой. Оставалась там день, от силы два и возвращалась. Ей клали в сумку немного фруктов и банку мацони. Но даже эта маленькая ноша была тяжела ей: сумка колотилась об ногу, она то и дело переносила ее из одной руки в другую и даже ставила на землю. И к тетке она ходила редко — та плохо жила с мужем, часто скандалили, и приход к ним не приносил ничего, кроме огорчения.

Когда Тебро окончила училище, одна учительница — добрая душа — помогла ей найти работу и комнату. С тех пор Тебро и работает там же, и живет в той же комнате. К девяти часам едет на швейную фабрику, весь день шьет детскую одежду, к шести вечера она свободна и — сразу домой.

Почему-то она так и не привыкла к городу, к шуму и суете, все

тишины ищет, забиться куда-нибудь норовит; и на фабрике пристроилась со своей машинкой в углу цеха. А живет она вон где — аж под Ведзисской горой! Сперва долго едет в троллейбусе, затертая между чужими плечами и спинами. От троллейбусной остановки еще немалый путь пешком.

Тебро не смогла бы одна платить за комнату; учительница, добрая душа, свела ее с другой девушкой — Марех, тоже работницей фабрики, круглой сиротой и тоже из горской деревни, с берегов Арагви. Тебро платит за комнату двадцать пять рублей, столько же платит Марех. А комната у них вот какая — полуподвальная, восемь квадратных метров, и почти половина окна ниже земли. А окно все время должно быть завешено. Стоит девушкам сдвинуть занавеску, чтобы впустить в комнату немного солнца, как тут же кто-нибудь возникает перед ними. Кто понахальнее, подходит к железной решетке и скалится. От зеленых юнцов чего еще ждать, но случается, что и пожилые мужчины позволяют себе такое непотребство; эти вроде бы случайно задерживаются перед окном и знаками дают понять: выпустите или сами выходите, даже деньги исподтишка показывают, Тебро и Марех в сердцах задерживают занавеску, садятся каждая на свою кровать, смотрят друг на друга и горько смеются: господа, сколько же на свете подонков!

Марех смелая, бедовая, а Тебро тихая, кроткая. Марех умеет даже ругаться, как мальчишка. Когда в кино к ним пристают какие-нибудь оболтусы, Марех кроет их от души, со смаком, но тихо, так, что только Тебро ее слышит. Тебро краснеет от ее слов: «Да тише ты, гого!» Ради бога, перестань!» А Марех смеется, заливаясь: у Тебро зубы хороши, а у Марех лучше.

Иногда они ходят в театр музкомедии или в филармонию. А все остальное время сидят дома. Даже во двор выходят как можно реже. Кран и уборная — вот и все их хождения, и туда-то стараются идти тихо, чтобы хозяйка квартиры не услышала. А все потому, что опаздывают платить за комнату.

Зимой и в дождливые дни они чувствуют себя лучше, особенно если дождь не очень сильный и не натекает сквозь щели на подоконник. Никто не зовет их из дому, никто не торчит под окном; лежит каждая на своей кровати и читает. Если в книжках попадается что-нибудь смешное или трогательное, читают вслух друг другу. Зимой в комнате постоянно горит электроплитка, на плитке лежит кирпич. Иногда — сковородка, на сковородку сыплются семечки подсолнуха, подсаживаются девушки к плитке — одна с одной стороны, другая — с другой, щелкают пахучими семечками и рассказывают о своих деревнях, об отчаянных деревенских парнях. Ох уж эти черти!.. И у одной родная деревня самая красивая, и у другой. И в одной деревне растут огромные ореховые деревья,

¹ Девочка, девчонка.

и в другой, и под теми орехами до поздней осени не желтеет трава: ложись себе и смотри в небо! И одна любила хорошего парня, и другая, но парни оказались слепыми, ничего не замечали и взяли в жены не их, а плохих, никудышных. У Марех и сейчас есть парень. Вернее, тот парень любит Марех, а она — так, не очень! К тому же он немножко попиывает, немножко дурью мается. Вот Марех и оплакивает свою потерянную любовь: «Охо-хо, бедовая моя головушка! А хоть и так, я еще не теряю надежды...»

Парень Марех — рабочий с ее фабрики, он собирает деньги, чтобы они смогли расплатиться и на недельку-другую поехать куда-нибудь. Он мечтает об этой поездке, а Марех только поджимает губки.

Один раз парень этот приходил к девушкам в гости; принес шоколадный торт и ушел. Тебро не показало, что он «дурью мается». С одного взгляда было заметно, что у него доброе, ранимое сердце. Доброе, ранимое сердце и большие руки. А вообще-то он пришел немного навеселе. Все проводил сильной рукой по волосам — сверху вниз. Ох и насмешил он девушек, и Тебро, и Марех, — тоже родом из деревни, рассказал о своих забавных односельчанах, и не только о соседях... «Моего отца, — говорит, — прозвали «Опля». Однажды мать вывалилась из колхозной машины, а он ей вслед спокойно так сказал: «Опля!»

Узнала хозяйка квартиры — злая собака — про приход того парня, пожаловала к девушкам и строго-настрого объявила: «Если вы собираетесь открыть тут у меня бардак, то лучше сегодня же сложите вещи и убирайтесь». С тех пор парень больше не приходил.

Марех скрывает от подружки, но Тебро чувствует, что они с тем парнем целуются, да так, что на другой день Марех осторожно заглядывает за пазуху. Стоит Тебро заметить это, и ей хочется совсем уединиться; она ложится на кровать, укрывается пальто, отворачивается к стене и застывает.

Марех ничего не боится, ходит с поднятой головой. Тебро тоже не очень-то пуглива, но...

Однажды осенью, сумрачным, пасмурным днем (в тот день хозяйка квартиры вытащила во двор швабру и стала обивать пожелтевшие листья с абрикосового дерева, приговаривая: «Коли осыпаешься, осыпайся сразу, некогда мне каждый день твои листья мести»), Тебро с болью увидела вдруг оголившееся дерево; в тот день в цеху на фабрике было собрание; собрание затянулось допоздна, и троллейбусы ходили плохо, а на улице темень. От площади Гагарина за ней увязался какой-то малый, шел, бубнил в спину какие-то гадости, потом вдруг обнял ее и поцеловал смрадным от водки ртом. Тебро залепила ему такую оплеуху, что парень отшатнулся, но не выпустил ее, а замахнулся кулаком. Сухой, жесткий кулак рассек Тебро бровь. Тебро вскрикнула. Еще кто-то из прохожих закричал. Парень убежал. А Тебро в ту ночь с трудом удалось остановить кровь.

На работе она сказала, что споткнулась в темноте и ударилась обо

что-то; она горячо проклинала тех, кто разбивает фонари на улицах — устраивает темень, прямо в гроб всех вколотила, но чувствовала, что ей не очень-то верят. И прежде она ходила грустная, опустив голову, а тут и вовсе приуныла...

А зима что-то растянулась, расплзлась, конца не видать. Холода, слякоть. И в деревню ни разу не удалось выбраться. С одной стороны, из-за непогоды, но главным образом потому, что теперь она работница, не может приехать к братишкам и сестренкам с пустыми руками. А Марех уже, как говорится, только одной ногой с ней — месяца два, от силы три, и уведет ее тот парень. Тебро говорит ей: «Когда тебя муж заберет, возьми и меня к себе, я у вас прислужу буду». Марех смеется. Смеется и обнадеживает, утешает: «Потерпи немножко, и тебе что-нибудь перепадет». Тебро прикладывает руку к рассеченной брови: «До сих пор ничего не перепало, на что же теперь надеяться». «Да ты что, глупая! — утешает ее Марех. — Это тебе даже к лицу». Но Тебро все-таки с ужасающей ясностью видит свое одиночество, даже чувствует вокруг себя воздух одиночества, и ее знобит как в лихорадке.

И доброй учительницы нет теперь рядом, переехала в Батуми. И родная деревня не зовет ее больше, видно, навсегда отвернулась. На стуле возле постели появились пузырьки с кордиамином и валерьянкой.

А тут еще новый начальник цеха, грязный тип, как только пришел, сразу: «Слушай, ты, что мне с тобой делать? Ты почему в Тбилиси не прописана?» С тех пор все пристает, силой навязывается. Где увидит, обязательно притиснет и щупает. Тебро грозит в райком пожаловаться, а он притворно пугается и дрожит: «Ах, ах, только не делай этого! Не надо!»

Дальше — больше: до участкового дошло, что на его участке живут без прописки две деревенские девушки; теперь недели не проходит без того, чтобы он не постучал к ним в окошко и не спросил с двусмысленной ухмылкой: «Ну как, выселяться будем или...» Больше он ничего не говорит, но девушки догадываются, на что он намекает. И обе сникают. «Немножко... Еще немножко подождите!» — отвечает бойкая Марех. А Тебро готова сквозь землю провалиться. Раз инспектор поднес палец к ее брови и сказал: «Да-а... тебя не за хорошее дело этим наградили».

Решила Тебро: «Обуюсь в железные башмаки, возьму в руки железный посох, доберусь до главного начальника и расскажу ему о себе все; скажу — в деревню меня ни семья не тянет, ни ремесло мое не пускает. Скажу, с утра до вечера сижу на фабрике и шью детишкам красивую одежду; так неужели мне не полагается крохотный — хоть с мышиную норку — закуток в нашем огромном городе, в столице нашей, в матери городов наших, если и тут мне вместо матери мачеха не досталась». Тебро делится с подругами, рассказывает о своем решении. Они слушают и улыбаются. Так улыбаются, что у нее пропадает надежда, пересыхает, как последняя капля. Потому-то ее решение так до сих пор и остается решением.

Одно еще плохо: наверное, от сидячей работы она стала полнеть. Ростом невелика и полнеет. А в последнее время и на работе, и дома вдруг без всякой причины на глаза наворачиваются слезы. С одной стороны, это хорошо, потому что ее красивые глаза делаются еще краше, но кто наклонится и заглянет, чтобы увидеть эту красоту? Никто.

На ней синеватое пальто из твида (сейчас март, и она еще долго в нем проходит), полы пальто то и дело расходятся при ходьбе, и она часто наклоняется, чтобы запахнуться. На ногах — серые башмаки на толстой подошве, с коричневой отделкой, потерявшие вид и давно надоевшие Тебро. На голове шерстяная шапка домашней вязки, тоже сероватая, с коричневыми полосками. Самую заметную черту ее лица вы уже знаете, — как бы она ни скрывала, все равно заметно, что бровь у нее рассечена. Над верхней губой, притемненной пушком, справа маленькая родинка. Улыбается она очень редко, а когда все-таки улыбается, прикусывает нижнюю губу и низко-низко опускает голову.

Полнота ее уже заметна даже в пальто, особенно — полнота груди. Она и сама чувствует это и, когда идет по улице, все старается как-нибудь ссутулиться, вобрать в себя высокую грудь.

Она улыбается травке, проклянувшей у кромки тротуара, но тут же словно вспоминает что-то грустное, и опять лицо у нее пасмурное, печальное.

ДВЕ КОЛДУНЬИ

(Женщина пишет подруге)

...Кажется, все здесь затаилось и замерло. Замерли горы, сосняк на склонах, дома, сложенные из каменного плитняка. Выйдут из дому тушин или тушинка, взглянут на небо и либо тут же у стены пригреются на солнце, либо неспешно подойдут к обрыву и встанут. Стоят и смотрят куда-то. Есть здесь одна собака, большая, лохматая, тоже неторопливая и задумчивая. Даже она останавливается на пригорке и, полуприкрыв глаза, смотрит в долину.

Детей здесь мало, держатся они, как взрослые. Вот вчера: сидели на огромном валуне две девочки, лет семи, а на вид и того меньше, — ростоком маленькие, вязали пестрые носки и поглядывали на горы. Когда я подошла, со спокойной улыбкой взглянули на меня и продолжали вязать. «Девочки, вы в школу ходите?» — спросила я. И знаешь, как они мне ответили? «В первом классе мы уже проучились, а теперь перешли во второй».

Ветры обходят стороной эти места. Туман паутиной путается в ветвях деревьев. По утрам, когда хозяйки разжигают огонь в домах, дым из труб размеренно и ровно возносится к небу. Даже птицы не нарушают

общей тишины, только с нижних лугов слышится голос древесной лягушки: гаак! гаак! гаак! Еще ниже, в высоких травах поблескивает запруда — маленькая, метра два шириной, но глубокая и чистая. В запруде живет большая задумчивая форель. Приходит туда древняя, словно вышедшая с того света, старуха, садится над запрудой и бросает в воду хлебные крошки. Из глубины неторопливо всплывает форель и, лениво разевая рот, глотает.

Вечерами все, кто есть в деревне, выходят на деревенскую площадь. Вдоль стен, еще хранящих тепло, садятся женщины — тесно, рядком, с улыбками на лицах; сидят и вяжут, вяжут... Мужчины стоят поодаль или лежат на зеленой лужайке, покуривают сигареты и неторопливо, не нарушая какого-то спокойного ритма, пронизывающего все вокруг, говорят о чем-то...

Потом словно бы невыносимым делается этот покой и тишина, женщины, толкая локтями, поднимают с места одну из своих товаров. «Да ну вас!» — согнанная стряхивает подол, характерной тушинской поступью — мелко-мелко семеня — идет к дому, выносит гармонь, опять садится у стены, кладет гармонь на колени и осторожно растягивает мехи, сопровождая движение рук рассеянной улыбкой и прислушиваясь к каждому звуку. Некоторое время она играет — отрешенная, вся обращенная в слух, потом распрямляет плечи, чуть в сторону откидывает голову и чистым звонким голосом затягивает: «Как красива родная Тушетия!». Она поет о том, как красива Тушетия — ее горы, туманы, водопады, долины, пасущиеся на них стада овец и пастухи в бурках. Пьянящее тепло разливается по жилам у слушателей. Вслед за первой она поет любовную: «Не приходи так часто, парень, не то догадаются о нашей любви, разлучат нас, и растаем мы с тобой, как снег...» Не допев песни, она неожиданно переходит на плясовую. Первым выходит в круг маленький мальчик и идет по кругу, гордо разведя руки и выделявая ногами разные кренделя. Он вызывает в круг другого мальчика — постарше. Тот приглашает юношу, а юноша — взрослого. Спляшут и женщина с женщиной и, разумеется, мужчина с женщиной. Раздаются хлопки, оживленные возгласы, смех. Но наскучит и пляска или иссякнет запал, и опять все заслушаются певунии с ее гармонью.

Не уходи, мой добрый гость.
Не говори, что ты уходишь,
А коль уйдешь, возьми с собой,
Ужель одну меня здесь бросишь.

Можешь представить себе, чем был гость для тушинки, по меньшей мере семь месяцев в году оторванной от прочего мира! Грусть и боль от этой замкнутости и сегодня заметны в характере жителей Тушетии — и мужчин, и женщин. «Не уходи, мой добрый гость!..» и отрешенно-зачарованно смотрят на заснеженные горы.

Но вот, темнея, меркнут вершины гор. Полнится звездами черный купол неба. Старуха выносит бурку, заботливо набрасывает на худенькие плечи тоненькой, восторженно улыбающейся девушки. Девушка смущенно жметя, точно норовит исчезнуть под той буркой, обратиться в бесплотный дух...

Только мы прилетели, бросившаяся нам навстречу деревенская девтора прямо у вертолета сообщила, что в деревне гостят лезгины: «Парень и девушка, Али и Фатима. Али восемнадцать лет, а Фатиме шестнадцать. Они с детства любили друг друга, — дети тепло и лукаво улыбались. — А родители не разрешали им пожениться, у них очень злые родители, не признающие новых обрядов. Тогда они взялись за руки и ушли к нам — грузинам.

Когда они добрались сюда, у нас местами еще лежал снег; и сверху сыпало вперемешку с дождем. Они появились мокрые, взъерошенные, съжившиеся от холода. Первой их приютила Дареджан: обогрела, накормила. Теперь мы все считаем их своими гостями. Фатима красивая, на груди у нее красивое серебряное монисто; вечерами она напевает в доме, но из дому почти не выходит. А Али пасет наше колхозное стадо, всюду вместе с нами и все время весело смеется.

Раньше, собирая материалы для своей научной работы, я часто бывала в лезгинских аулах. Я полюбила эту страну, ее кремнистые тропы, родники и звуки. Меня охватило нетерпеливое любопытство — поскорее увидеть Фатиму с ее красивыми монистами на груди и веселого Али...

Али я увидела на другой же день. Вместе со всеми он вышел на деревенскую площадь и встал там с мужчинами, беззаботно сдвинув шапку набекрень и распахнув ворот. Стоял и дымил сигаретой; зажав сигарету в уголке губ, хлопал в такт пляске; даже сплясал с одним маленьким мальчишкой, посмеиваясь и с шутливой серьезностью выделявая коленца.

Когда нас познакомили, он смутился, покраснел, вытянулся и как-то покорно наклонил голову.

— Мне доводилось бывать в твоём ауле, — сказала я.

— Правда?! — Он еще больше покраснел.

— Помню, над крайними домами нависал огромный камень. Он все еще там?

— Там! Там! — смешавшись, отвечал он со смущенной улыбкой.

— А мельница по эту сторону водопада?

— И мельница на месте.

— А родник перед мечетью?

— И родник тоже...

Он собрался с духом и, как взрослый мужчина, предложил мне сигарету. Я взяла, и мы закурили. Али курил и смотрел куда-то поверх моих волос.

— Почему твоя жена не выходит к нам? — спросила я.

— Немножко стесняется.

— Почему?

— Потому что еще совсем молодая жена. — Он смущенно посмеивался и, пятясь, отходил к группе мужчин.

— Ты должен привести ее к нам. Жалко одну.

— Не знаю. Если захочет, приведу.

Он ушел — вольный, счастливый. Но на следующий день опять появился на площади один, встал среди мужчин и закурил. Я спросила: «Али, почему ты не привел Фатиму?» Пожал плечами, опустил голову и покраснел. Стоял и переминался с ноги на ногу.

Утром я сама пошла к ней, я и моя хозяйка Надо.

Чтобы явиться не с пустыми руками, мы взяли немножко масла, сыр, хинкали, оставшиеся со вчерашнего дня, мои духи и тубик зубной пасты. Такой визит здесь, в горах, дело самое обычное.

Фатима была одна в отведенной им маленькой, чистой комнатенке, словно бы уже знакомая мне, тоненькая с высоким лбом и прекрасными, тесно посаженными зубами. Серебряного мониста на ней не было. Сначала при виде нас она растеряннo хлопала ресницами, даже руки пыталась спрятать. Потом забегала, засуетилась: поставила на стол хлеб и топленое молоко. Налила молока нам и себе. Принесла домашек и васильков в глиняной вазе. Разогрела хинкали, вскипятила чай и все извинялась за свою нерасторопность. Мы сказали, что уже и завтракали, и молока попили. Разговаривали улыбаясь, с любопытством разглядывая друг друга. Фатима коротко отвечала на наши вопросы.

«Если что нужно или чего захочется, не стесняйся, скажи — на то мы и люди, на то и соседи», — сказала на прощание Надо.

Мы поднялись. Фатима проводила нас до дороги. Там она вдруг остановилась, красивым жестом, словно спохватившись, вскинула худенькую руку, сказала: «Подождите! Я мигом!» — вбежала в дом и вынесла две булавки кубачинской работы. Мы отказывались и даже отбивались, но она все-таки приколотла булавки — одну мне, другую Надо.

На ней было легонькое платьe, голубое-пеголубое; легкие светлые волосы золотисто сверкали на солнце.

В тот вечер нет, но на следующий, когда я пришла на площадь, Фатима была уже там. Женщины усадили ее в середку. Было прохладно: в белом шелковом платке, в мужском тулупе, у нее видны были одни глаза да белые зубы — глаза, зубы и рубинового цвета камни впрямь дивно красивого ожерелья. При виде меня она приподнялась, с улыбкой кивнула и села, как застенчивая ученица. Я подошла, присела рядышком, стала расспрашивать, как она себя чувствует, не холодно ли ей.

— Нет, нет, мне хорошо! — отвечала она и поглядывала на Али, точно ища поддержки. А Али стоял среди мужчин еще более независимый и веселый, чем обычно, стоял и то сдвигал на затылок, то надвигал

на глаза широкую кепку. Женщины и девушки были заняты одной Фатимой. Фатима по-женски нежилась в этом всеобщем внимании, поблескивала глазками, посверкивала зубками...

Надо пошла к дому, вынесла гармонь.

— Позовите Лелу! Лелу позовите! Куда запропастилась Лела?

Пришла Лела, какими-то решительными твердыми шагами, словно наперекор кому-то, подошла к нам; они уже были знакомы с Фатимой, присела перед ней на корточки, приласкала: «Ну, как ты, красавица? Держись! Не унывай!..» Когда Лела пересела в общий ряд. Надо положила ей на колени гармонь. Лела закинула ремень за плечо, растянула мехи, пробежала пальцами по клавишам и запела, завела: «Ах, стать бы мне вольной птицей и с ветром к тебе прилететь»... Фатима восхищенно смотрела на нее. Закончила Лела одну, запела другую — песню одинокого пастуха. Еще восхищеннее смотрела на нее Фатима. Когда Лела допела вторую песню, Али что-то по-лакски сказал Фатиме. Фатима недовольно поежилась и, как все мы поняли, ответила: «Нет, нет!» Али повысил голос и нахмурил брови: теперь он уже приказывал. «Дайте ей гармонь!» Вытянула Фатима свои тонкие руки, уместила гармонь на коленях, закинула ремешок за плечо, какое-то время словно искала и не находила на клавишах места для пальцев.

— Ладно, ладно, не томи душу! — смеялся Али.

Растянула нерешительно гармонь Фатима, заиграла — жемчужины посыпались, покатались в вечернюю тишь. Али шутивно сердился, приказывал петь. Тогда Фатима закинула высоко голову, закрыла глаза и запела... Если б я могла передать, как она запела! Откуда бралась, где умещалась в этой маленькой тоненькой девочке такая огромная грусть, красивая женская печаль — печаль сестры, печаль жены, печаль матери. Как могла шестнадцатилетняя девочка сказать об этом со спокойствием мудрой женщины, негромким, бархатным голосом.

Ай, ла-ла-ла-лаи...

Как встревоженные кони, переступали с ноги на ногу мужчины.

Кончила, открыла глаза. С улыбкой, обессиленными руками вытянула вперед гармонь. «Еще! Еще!» — просили мы. Она покачала головой: «Нет», — и запахнулась в тулуп, упряталась в нем. Лела опустилась перед ней на колени, пригнула ее голову, поцеловала в лоб, потом стала целовать ей руки. Фатима рассерженно вырывалась. Волновались, встревоженно озирались мужчины. Али говорил им что-то обнадеживающее и смеялся. Он попросил Фатиму спеть еще, но Фатима не соглашалась. Лела тоже больше не пела: стояла на коленях и смотрела на Фатиму. Под конец Фатима сама попросила Лелу спеть: «Умоляю, спой еще»... — «Кому нужно после тебя мое пение...» Неохотно перебросила Лела ремешок гармонии через плечо, с выражением неудовольствия пробежала пальцами по клавишам, потом смолкла, погасла, словно провалилась куда-то, и оттуда, из своего небытия, начала:

Ой, матушка ты родимая,
Что за тяжкую боль этот день принес,
Круглые пуговики на платице
Тают, тают от горячих слез...

Это был плач женщины, не по своей воле покинувшей мужний дом, в ветер, темень и дождь бредущей назад к отчему дому: пуговицы у нее на груди таяли от горячих слез.

Много наших знаменитых певиц я слышала, моя дорогая, но в тот вечер Лела затмила всех. Я не отрывала глаз от Фатимы: обеими руками вцепившись в рукава тулупа, она прижала их к горлу, ее трясло словно от холода, даже зрачки у нее дрожали. Кончила Лела. Вынула из себя всю душу и нас опустошила. А Фатима? Вообрази: она вдруг отбросила тулуп, встала и пошла через площадь широким шагом, свободной, независимой походкой горожанки. Пройдя шагов десять, обернулась и сказала что-то. Али громко рассмеялся. Потом перевел нам: «Она говорит — колдовка! Чертовка! Лела — чертовка!»

И скрылась с глаз Фатима. А Лела сидела и впрямь как колдунья, сверкала в улыбке зубами: «Она опередила меня. Я сама хотела ей это сказать, да не посмела. А она сказала».

Мужчины, словно кони без поводьев, без толку топтались на месте.

* * *

В ту ночь я почти не спала. Ты догадаешься, о чем я думала после тех песен о женской доле. Утром поднялась чуть свет, вышла к обрыву и увидела странную картину: по зеленому скату, крепко обнявшись, катились мужчина и женщина. Мужчина был серый, женщина — голубая-преголубая. Катились, катились, скатились вниз, там остановились, некоторое время лежали, обнявшись, потом сели: смотрели друг на друга и смеялись.

Мужчина был Али, женщина — Фатима.

Если наше существование на земле имеет смысл, то разве что ради такого зрелища. Вот что я тебе скажу, дорогая моя подруга и сестрица!

ТОВЛА

С тех пор как в этой деревеньке началось строительство головного сооружения большого оросительного канала, родители, те, у которых были дочери, потеряли покой. Куда ни повернись, отовсюду сверкали белозубыми улыбками загорелые, мускулистые, веселые парни. Одни были плотники, другие — каменщики, третьи — арматурщики, кто водитель, кто экскаваторщик — всех не перечесать. Девушки разлюбили домашнюю работу, даже когда хозяйничали по дому, все равно краешком

глаза поглядывали на дорогу — кто там пройдет или проедет? Наспех заканчивали стряпню, мойку или постирушку, надевали выходные платья, совали босые ноги в туфли на высоких каблуках, торопливо причесывались, робко мазали губы бледной помадой и выходили на дорогу. Куда им было идти? К подружке по соседству или в огород, что остался на краю села, но шли они с таким видом, словно были вызваны для решения важного вопроса.

А на дороге непременно появлялся обшарпанный, раздолбанный самосвал и, гремя кузовом, мчался навстречу или догонял девушку; шофер высовывал из кабины припудренную пылью белозубую голову и как обязательное приветствие бросал: «За такую походочку душу отдам, дорогая!» У девушки точно огонь пробегал по ногам, она сбивалась с шагу, с забывшимся сердцем отбегала к обочине, бросала на шофера сердитый взгляд. «Разрази тебя гром!» — говорила вслед и, оставшись одна, шла дальше, с каким-то новым удовольствием ощущая каждую мышцу своего тела.

Местные ребята поначалу, как дворовые псы, скалились и рычали на пришлых и частенько затевали свары; из этих свар все выходили побои, окровавленные; потом и местные пошли работать на стройку, подружились с приезжими и мирно делили с ними как девичьи улыбки, так и их строгие взгляды.

Село даже облик сразу сменило. По одну сторону, где прежде были хлева да сараюшки, встали белые корпуса, бараки и коттеджи. Проселочную дорогу расширили и залили асфальтом, по обочинам дороги врыли столбы, на столбах повесили электрические лампочки; в селе стало меньше домов, крытых тесом и черепицей, прибавилось крыш под жестью и шифером; над крышами поднялись телевизионные антенны; открылись магазины, построили новый клуб, в нем поставили два проекционных аппарата, и теперь местное кино почти не отличалось от городского. Каждый вечер привозили новую кинокартину, и в зал битком набивались местные и приезжие, поначалу сидевшие порознь. Постепенно и эту грань стерли. Рабочие из России устроили в клубе даже комнату для танцев. Правда, местные девушки в этих танцах не участвовали по той простой причине, что не умели танцевать европейские танцы, зато ребята не считались с неумением, и частенько их можно было увидеть смешно дергающимися или отчаянно прижимавшимися к партнершам — точно боялись упасть и хватались за девушку в поисках опоры.

Ежедневно кино и танцы вовсе сбили с толку несчастных родителей. Не пустить в кино свое чадо они не могли. Но не в этом была загвоздка и опасность: дети говорили, что идут в кино, а куда шли на самом деле — поди узнай! Не побежишь же каждый раз за ними хвостом, да и сидеть с ними в кино или ждать возле клуба от начала и до конца сеанса тоже не дело!

Несколько девушек вышли замуж, несколько парней женились на приезжих, и совсем еще недавно глубоко патриархальная деревня прев-

ратилась в интернациональный микроцентр. Не говоря уже о многочисленных грузинских диалектах, по проселкам можно было услышать азербайджанскую, армянскую, греческую, осетинскую и, конечно же, русскую речь. Никаких осложнений! Никаких непредвиденных и непреодолимых трудностей. Напротив, все почувствовали, что жизнь стала легче. И она, эта жизнь, все взбухла и поднималась как на дрожжах.

Но у каждого своя судьба.

На краю деревни, неподалеку от тех мест, где раньше стояли сараи да гумна, жила тихая, кроткая супружеская чета — Эквтиме и Мзеха. Эквтиме был из местных, коренных, немногочисленного рода, Мзеха — хевсурка, из Белых колодцев, выросшая в сиротстве, оба с головой погруженные в свои дела и заботы. Эквтиме работал землекопом в лес-промхозе, ему частенько приходилось копать далеко от дома. Мзеха работала в колхозе дояркой — кормила коров, доила, убирала за ними. Было у них двое детей: сын Таризл двадцати одного года, в ту пору проходивший срочную службу в армии, и восемнадцатилетняя дочь — Товла.

Товла прошла восьмилетку в своем селе, после восьмилетки тетушка — сестра отца — повезла ее в Тианети, и уже там она окончила среднюю школу. Летом поступала в университет, но за письменный экзамен по истории получила тройку, ей не хватило баллов, и она вернулась в деревню с твердым намерением хорошенько подготовиться и на следующий год опять попытать счастье. Даже в дороге, в автобусе, когда ехала куда-нибудь, она читала учебник истории: кто был Святослав, как его убили печенеги и как печенегский князь велел сделать из его черепа чашу и пил из той чаши на пирах, а также многое другое...

Дома, в родной деревне, ее встретила большая стройка. Эквтиме еще зимой сдал маленькую комнату своего дома, теперь в ней жил парень лет двадцати семи, водитель самосвала по имени Бочо. У одиноких Эквтиме и Мзехи этот Бочо прижился, как сын. «Когда смотрю на него, как будто нашего Таризла вижу», — не раз говаривал Эквтиме жене. Почти каждый вечер они вместе ужинали, потом вместе сидели у печки — жарили тыквенные семечки или подсолнухи, и только спать постоялец уходил к себе.

Бочо относился к Эквтиме и Мзехе очень уважительно, называл их отцом и мамашей, придя с работы, помогал по хозяйству и делал это не ленясь, умело и с удовольствием. Во дворе скопилась гора навоза, он сам накидал его в самосвал, отвез вниз к реке, где у них был огород, и там свалил. Привез со стройки непригодные обрезки досок, содрал с хлева солому, заново скотил кровлю из досок и покрыл ее толем. Помог Эквтиме устроить во дворе новое тонз,¹ привез дров — крупных бревен, раздобыл пилу «Дружба»; напиллил те бревна, наколот и сложил в аккуратную поленницу. Да чего только он не делал — золотые руки были у парня! Если Мзеха не успевала, он и коров доил.

¹ Тонз — печь для выпечки хлеба.

А когда вернулась домой Товла, и вовсе закипела работа в его руках, точно искры с них слетали. Поехал вместе с Эквтиме, привез речных булыжников и гальки, раздобыл на стройке цемент и оградил двор красивым бетонным забором. Товла поначалу сторонилась этого неуклюжего мужчины, при каждом его взгляде хлопала ресницами и заливалась краской, потом постепенно привыкла. Поливала ему, когда он умывался, и, если Бочо приводил в гости кого-нибудь из друзей — на вино или жипитаури, — хозяйничала за их столом: нарезала салат, жарила яичницу, доставала из погреба маринады, порой даже присаживалась к столу ненадолго. Но при госте никогда не притрагивалась к еде. Бочо называл ее сестренкой, подвыпив, осмеливался обнять ее за плечи и говорил: «Ты моя маленькая сестренка. Кто тебя обидит, будет иметь дело со мной. А это любому дорого обойдется!» Товла, и без того маленькая (она была едва по плечо Бочо), совсем уменьшалась, сжималась в комочек, не знала куда деваться. Необыкновенно застенчивая от природы, она стеснялась даже, когда посторонние называли ее Товлой. А ведь ее в самом деле так звали, и ей нравилось свое имя, оно очень шло ей — Товла была беленькая-беленькая, круглолицая, чуточку скуластенькая, светловолосая, а глаза по-восточному удлинённые и голубые. Она так легко ступала на своих полноватых ногах, словно вовсе не касалась земли. Только ресницы у нее были черные, будто накрашенные.

Всю осень они провели вместе. А подступившая зима и вовсе их сблизилась — вечерние сидения у печки... За это время Бочо дважды ездил в Сухуми. Вернувшись, привез оттуда сулугуни, хурму и мандарины. В день рождения, двадцать третьего декабря, поднес Товле чудесный подарок — белый английский свитер. В тот вечер Товла спела. Взяла чонгури, заиграла негромко и, зардевшись, потупясь, запела:

Братец, свет моих глаз,
Братец, лик твой как солнце,
Кто дал тебе красоту
Семи небесных светил?
Люби и вспоминай меня,
Оплакивай свою сестру...

От этой песни Бочо вскочил и во второй раз осушил рог, принадлежавший еще деду Эквтиме, а вмещал тот рог почти литр вина.

Эквтиме и Мзеха, оставшись одни, частенько перешептывались: «Наша-то с Бочо, а?» — «А что? Хорошо бы, а?» — «Хорошо...» Одно только их беспокоило: Сухуми им представлялся где-то на краю света, не сможем туда ездить, потеряем навсегда нашу единственную дочь.

И все-таки наступил тот день, о котором они втайне мечтали, даже себе не признаваясь в этом. Побелевшая, с покусанными губами Товла прислонилась к стене и объявила матери:

— Я беременна.

Мать только замахала на нее руками:

— Чур тебя, чур!.. Да вот... оба вы здесь, делайте что хотите, хоть камнями друг друга забейте...

Но в глубине души словно бы даже осталась довольна: в конце концов все шло к тому, о чем она мечтала! Она отвернулась от дочки и вышла из комнаты.

В ту ночь Эквтиме и Бочо сидели вдвоем в комнате постояльца, Бочо, понуриив голову, молчал. В конце концов, словно сбросив какой-то груз, он поднялся и сказал:

— Не оценил я вашей доброты и заботы, виноват, но сам все исправлю.

Порешили на том, что через неделю Бочо поедет в Сухуми, привезет родителей и устроят помолвку.

Эквтиме успокоился, и в доме опять воцарились тишь и согласие. Только Товла избегала всех, так и норовила спрятаться по закуткам да за мебелью.

Через неделю Бочо и впрямь уехал. Товла, выглядывая из-за стены, смотрела ему вслед, и по ее лицу текли слезы. Мать, Мзеха, провожала Бочу:

— Ну, с богом, сынок, счастливого тебе пути, надеюсь, скоро вернешься, не опоздаете.

Машина уже отъехала, когда в конце двора показался Эквтиме, он вылез из оврага и помахал рукой:

— Счастливо! Счастливо! До скорого!

Бочо вырулил на шоссе и переключил машину на третью скорость. Грузовик помчался, громыхая кузовом. Рядом с Бочо сидел товарищ, который должен был пригнать машину назад от железнодорожной станции.

Стоял февраль, но было так тепло, что на кручах по оврагам зацвел кизил. Товла выходила из дому только во двор, проходила неслышно, как тень. А из дому никуда ни шагу. «Все учится, голубушка, все учится», — говорила соседям Мзеха. Втайне друг от друга и мать с отцом, и дочь поглядывали на дорогу.

Прошла неделя, потом десять дней.

Потом две недели.

Три недели.

Товла до боли стискивала глаза и по ее щекам скатывались слезы. «Нет-нет, с ним что-то случилось, что-то стряслось, — пойду, расспрошу, найду и, если ему худо, буду за ним ходить». Но Эквтиме с Мзехой старались ее обнадежить: «Глупенькая, Сухуми ведь не около Мцхеты, а аж у самого моря. Да и не могут они сняться налегке и приехать: народ семейный, степенный, в семью едут — надо подготовиться. Что мы между собой по-простому обговорили, это одно, а между семьями сговор — это уже совсем другое, тут не просто».

Прошло еще несколько дней, и туманным мартовским утром к ним на балкон поднялась запыхавшаяся соседка: «Слышишь, что ли, тут приехала жена Бочо с сынишкой. Спрашивает, где Бочо, а мы не знаем, что и сказать...» Через несколько минут другая соседка привела эту женщину — худую, высокую, остроносую, прячущую лицо в заячем воротничке. В одной руке она держала маленький чемодан, в другой — саквояж. Рядом с ней стоял бледный мальчик лет пяти, тоже остроносый, как мать. Мальчик, видно, продрог, под носом у него было мокро.

Мзеха вошла в дом, закрыла дверь, села на тахту и стала больно колотить себя по коленям. Эквтиме был в лесу. Товла жалась за другой дверью. Она дрожала и в отчаянии билась затылком об стену.

— Чтобы мне умереть, доченька! Чтобы мне умереть! — простонала Мзеха.

— Я не хочу жить! Я не буду жить! — сквозь рыдания откликнулась Товла, рывком распахнула дверь и бросилась вниз по лестнице.

Стоявшие во дворе женщина с мальчиком робко посторонились. Товла только разок взглянула на них, пошатнулась, словно споткнувшись, и побежала к обрыву.

Мзеха бежала следом и кричала:

— Не губи нас, дочка! Не губи, родимая!

Кинулись вдогонку и соседи, но никто не смог догнать легконогую восемнадцатилетнюю девушку. Все видели, как она добежала до края скалы, как кончилась под ней земля и как полетела она вниз, словно царапая руками воздух. В ущелье громоздились валуны, между валунами с шумом пробивалась мутная вода, и оттуда уже не донеслось ни звука.

Жена Бочо в тот же день уехала назад. Оказалось, что в марте Бочо не был в Сухуми.

На похороны Товлы пришла уйма народу. Многие заметили, что мать — хевсурка — не оплакивала свою дочь. И в самом деле: Мзеха сидела, плотно поджав губы, и, не моргая, не отрывая глаз, смотрела на Товлу. Лишь время от времени она вскрикивала нараспев:

— Доченька, доча, не услышала ты моих слез, не прислушалась ты к моим крикам. Показала мне свою смерть, и за это я не оплачу тебя!

Товла лежала под белым сударием, разбитый лоб ее был прикрыт белым — она словно спала. Все еще круглое личико ее стало еще белей, только тени от маленьких ноздрей да черные реснички чернели на лице отчетливо и резко — точно следы странной птицы.

Когда несли ее на погост, легкую, высоко держа на руках, один юноша-пшав, арматурщик со стройки, отшвырнул железо из тисков и в сердцах сказал:

— Вон как оно бывает, когда разный люд перемешивается!

К нему подошел седой бригадир:

— Слушай, что я тебе скажу, — брось-ка ты эти философии, — и сунул отброшенную арматуру ему в руку.

И парень-пшав послушно побрел к своим тискам.

СИХАРУЛА¹

Маквала вошла, прислонилась спиной к дверному косяку, склонила по привычке голову набок.

— Наш столяр, батона Леван.

— Что за столяр?

— Из столярного цеха.

— Что ему нужно?

Маквала пожала плечами:

— Жена у него умерла... Хочу, говорит, о чем-то просить директора.

«Вот таким-то просителям нужно всегда что-то, не предусмотренное законом», — с досадой подумал Леван. Однако Маквале он сказал спокойно:

— Пусть войдет.

Маквала вышла из кабинета, оставив дверь открытой. Вскоре в ней появился столяр — заглянул в комнату и стал на пороге. Это был мужчина лет шестидесяти с лишним, невысокий, широкий в плечах, большоголовый, большеглазый. Его редкие седые волосы сбились над выпуклым коричневым лбом. Конечно же, Левану только показалось, что вошедший улыбается в усы — большие и какие-то плоские.

— Входите! Входите!

Столяр сделал несколько шагов, переложил свою большую, негнущуюся фуражку из правой руки в левую.

— Прошу вас. Проходите.

Леван встал, обошел стол, пожал столяру руку — сухую и шершавую, словно плохо остружанное дерево, — пододвинул стул:

— Садитесь.

— Нет, нет! Не смею беспокоить.

— Помилуйте! Какое беспокойство...

— Нет. Нет. Я так скажу...

— Извольте.

Теперь столяр держал фуражку перед собой — обеими руками.

— Жена у меня скончалась... Сихарула... От рака... Еще хорошо, не долго мучилась...

Столяр умолк. Было видно, просить ему нелегко — он растерянно смотрел на Левана большими выпуклыми добрыми глазами.

— Вам нужна помощь?

Теперь столяр действительно улыбнулся:

— Вот... Хотел побеспокоить вас...

— Зайдите к председателю профкома. Я с ним поговорю. Мы сделаем все, что возможно.

¹ Сихарула — женское имя, произведенное от «сихарули» — радость.

— Денег нам не надо, батоно. Вы нам только с машиной помогите. Нужно покойницу перевезти в деревню. Там и похороним, как положено.

Леван задумался.

— Какая деревня?

— Недалеко. В Каспском районе... Маленькая деревня.

Леван сел. Машин всегда не хватало.

— Вот с машинами...

— Помогите мне. Только на вас надежда.

Леван придвинул к себе телефон, набрал какой-то номер. Ему не ответили.

— Когда вам нужна машина?

— Завтра утром. К полудню машина может вернуться в город.

Леван снова набрал тот же номер.

— Ведь вы тут прописаны, тут живете. Почему же хотите похоронить жену в деревне?

— Там и дом больше, и потом для сыновей так лучше будет — не бросят они тогда совсем деревню дедов своих.

— Да... Конечно.

Зазвонил телефон — другой. Леван снял трубку. Столяру сказал:

— Пройдите к секретарше. Она напишет вам заявление. Что-нибудь придумаем. Только вам придется заплатить... Рублей десять.

— Спасибо. А заявление я и сам напишу...

— Да, да. — Это Леван сказал уже в телефонную трубку.

Обнадеженный столяр вышел из кабинета. В дверях он столкнулся с главным бухгалтером. Тот вошел, положил на стол кипу бумаг, сел и не мигая уставился на Левана. Не успел Леван закончить разговор по одному телефону, как затрезвонил другой, но тут же смолк...

Бухгалтер положил руку на бумаги:

— Просмотрите это... А потом — как скажете.

Леван взял верхний лист.

И тут снова зазвонил телефон, на этот раз уже третий — черный, большой, внушительный. Леван встал и так — стоя — снял трубку:

— Я вас слушаю! Разумеется! Сию минуту, батоно!

Он почтительно положил трубку. Поправил галстук.

— Вот что мы сделаем! Если я и задержусь, ты не уходи. Сегодня же покончим со всем этим. Сегодня же...

Огорченный бухгалтер поднялся. Леван вышел в смежную комнату, надел там плащ, взял шляпу.

Когда он вернулся в кабинет, столяр уже стоял посреди комнаты с заявлением в руке. Леван взял заявление, положил его на стол, вынул из кармана ручку. Почерк у старика был старомодный — все буквы вытянутые какие-то, заостренные. «У меня скончалась супруга Сихарула, — писал он. — Прошу Вас помочь нам с машиной, чтобы перевезти покойницу для погребения в Каспский район».

«Сихарула!.. В заявлении это ни к чему...». Леван хотел было вычеркнуть имя, но почему-то не смог... В левом углу листа он написал наискосок: «Тов. Мосидзе. Выделить по мере возможности» — и поставил свою подпись. Потом снова пробежал заявление глазами.

— Сихарула... Это ее настоящее имя?

— Настоящее, батоно.

— Хорошее имя.

— Она и сама хорошая была. Ни слова упрека я от нее за всю жизнь не слышал. Так и умерла, несчастная.

— Пусть земля ей будет пухом. Откуда и когда завтра едете?

— Утром. Из больницы Арамянца. В девять там открывается. К десяти, наверное, и поедем.

В дверях столяр хотел было пропустить Левана вперед, но тот опередил его и сам уступил ему дорогу. Смущенный старик запнулся на пороге.

— Маквала, — повернулся Леван к секретарше, — позвони Мосидзе, пусть выделит товарищу машину. Отведи его сама к Вашадзе. Пусть и он делает все, что положено в таких случаях.

— Нет, нет... Нам ничего больше не нужно!

— Пойдите с ней. Пойдите...

Леван протянул руку. Столяр неловко пожал ее.

— Все будет сделано.

— Я и не знаю, как...

Леван вышел.

«Сихарула... Интересно, какая она была? Какой была семья, давшая ей это имя? Оправдывала ли она его? И, наконец, что же осталось от Сихарулы?»

Поздно ночью, ложась рядом с женой, он сказал:

— У одного нашего столяра умерла жена. И знаешь, как ее звали? Сихарула!

Жена улыбнулась:

— Бедная!

Утром, к десяти, он уже был в Первой городской больнице — стоял рядом со старым столяром. Тут же были его водитель, два родственника старика — тоже пожилые рабочие (большие, тяжелые, заскорузлые руки, казалось, притягивали их к земле) и водитель машины, на которой предстояло везти покойницу в деревню. Трое сыновей столяра, словно вытесанные из одного куска дерева, и несколько их товарищей теснились у дверей морга. Было очевидно, что сам столяр, его сыновья и родственники польщены присутствием Левана. Они все делали степенно и споро.

Наконец двое парней побежали к грузовику, откинули задний борт. Сыновья столяра с товарищами вынесли гроб, обтянутый белым миткалем. Столяр стоял, держа обеими руками свою большую негнущуюся фуражку, и не мигая смотрел перед собой...

В гробу лежала Сихарула — маленькая, очень маленькая седая женщина в новом — синем в белый горошек — платье. Ее восковые руки — руки вечной труженицы спокойно и как-то легко лежали на груди. Лицо тоже было спокойным, желтым, как бы аккуратно выструганным. Спокойным был и плотно сжатый, тонкогубый рот. И только седая прядка тревожно билась на ветру у запавшего виска. И, странное дело, при взгляде на умершую создавалось впечатление, что вся она устремлена куда-то вверх и ждет оттуда чего-то хорошего.

Леван тоже пошел к машине, хотел было помочь, но сыновья столяра и их товарищи легко подняли гроб, поставили в кузов, что-то поправили в нем и накрыли крышкой.

Столяр и его сыновья говорили Левану:

— Уважьте нас, батону, приезжайте в деревню. Окажите честь...

Леван пообещал, если, мол, ничего не помешает, непременно буду.

Он прошел несколько шагов вслед за машиной с гробом, потом свернул в сторону...

Леван шел между черными, перезимовавшими деревьями. Небо было тяжелым и темным, однако ему казалось, что какой-то легкий свет разлит вокруг. То был свет Сихарулы — ее имени, ее безропотного существования, ее конца, — и отныне для него этим светом будет озарено все — и черные деревья, и темное небо, и серые глыбы домов, и такие разные лица людей — все-все! Леван шел, и в нем больше не было страха ни перед чем и ни перед кем.

РЕЖУТ СВИНЬЮ

Поставили на треногу огромный котел, наполнили его водой, разожгли костер. Пошел Иосеб, взрывая сапожищами снег, повыдергивал в винограднике грабовых кольев, принес, разломил надвое о колено, подбросил в огонь. Огонь обрадовался, заиграл, с треском потянулся вверх.

— Или весна больше не придет? Не понадобятся винограднику колья-подпорки? — недовольно заметила Иосебу жена.

— Дай дожить до весны, я каждую лозу золотым колом подопру, — осклабясь, отмахнулся Иосеб.

— Будешь пить по пять литров в день, так и впрямь о весне возмечтаешь, — опять задымил в его сторону жена.

— Вон Пеценика не пил ни капли, и что? Слетели к нему ангелочки и увели под гармошку и доли...

На этом даже Иосебова жена не смогла сдержать улыбки, прикрыла рот рукой:

— Да потише ты, человеке, потише!

Такой распалился костер, что из дома вышли женщины и дети, об-

ступили, протянув руки. Никто не помнил про снег вокруг, про летящие сверху тусклые хлопья и мороз, мороз...

Иосеб велел вынести к огню бутылку и кашанское блюдо¹. В бутылке была вспыльчивая, как порох, чача, на блюде — чурчхелы, чищенные орехи, сушеные персики, виноград.

— С утра под чачу в самый раз чурчхелы и сушеные персики, да еще костер, постреливающий в мороз, — уверял Иосеб.

Что верно, то верно! Трижды пустил Иосеб стопарь по кругу, сказал три шутиwych тоста под хрусткую закуску. Первый — за того мужчину, который сопрет у матери пенсию и купит теще белье, чтобы теща не простудилась. Второй — за того мужчину, у которого под Новый год курица ногу сломает, а он ее не зарежет — авось нога заживет. И третий — за того мужчину, который купит жене короткий веник, чтобы все видели, какие у его жены белые ноги. Все три раза «алаверды» он передавал мне, а я — взрослым сыновьям Иосеба, один из них был уже женат. Женщины, щурясь, поглядывали на нас и без удовольствия поклевывали виноград; моя жена как-то слишком изящно держала двумя пальцами сушеный персик.

Вода в котле сдвинулась, булькнула, возмутилась. Потрусили Иосебовы парни к марани, вынесли большую лохань и поставили в снег. Закипела вода.

— Ну-ка, мелюзга и бабы, вон отсюда! — гаркнул Иосеб.

И пошли втроем, три подавшихся вперед медведя, Иосеб и его парни вывели из свинарника свинью — большую, холеную, откормленную, с грузно обвисшим брюхом и укороченными от этого ногами. Вынесли и дедовский кинжал с тремя желобками. Кинжал держала на вытянутых руках круглолицая, как полная луна, сноха Иосеба.

— Никак, сам колоть собрался, человеке? У тебя ж она всегда верещит долго или вовсе убежит.

Иосеб искоса глянул на жену.

— Точно, отец, у тебя долго верещит, — подхватили сыновья.

— Не верещит вон та бочка в конце двора! Помогите лучше повалить ее.

Обступили свинью со всех сторон.

— А ты бы отошел подальше — запачкает, — заметил мне Иосеб, но я не отошел.

Тогда Иосеб нырнул свинье под ноги, пнул ее коленом в бок и повалил на снег. Мы уселись на нее верхом. Свинья верещит, хоть уши зажимай.

— Гого, давай кинжал! — сквозь этот визг крикнул снохе Иосеб.

Сноха суетливо подала кинжал и отбежала. Иосеб разок обвел нас взглядом и всадил кинжал свинье под левую переднюю ногу. Всадил — и свинья тут же смолкла. Все перевели дух, переглянулись, улыба-

¹ Вид глиняной посуды. Названо по местечку в Иране.

ясь. Иосеб некоторое время постоял, опираясь коленом на свинью, потом встал, довольный. Сыновья улыбались ему снизу вверх.

— Вот это да, отец!

— А то нет! Я ж — не вы.

Иосеб заважничал, вытер кинжал о свинью, передал снохе. Та тоже улыбалась, довольная, и хотя морщилась, но кинжал все-таки взяла и понесла двумя пальцами, как какую-нибудь нечисть.

Вчетвером подняли свинью; не вчетвером даже — нам на помощь пришли и жены, и сноха Иосеба, — еле уложили ее в лохань. Лохань переполнилась. Иосеб с сыновьями разобрал свежеколотые поленья, я тоже взял одно полено. Жена Иосеба подносила от огня кипяток в кумгале, лила на свинью, а мы шлепали ее поленьями. Пар клубился так, что мы едва видели друг друга. Как только вода чуть остывала, мы выщипывали щетину, скребли поленьями и снова выщипывали.

— Про печень забыли, отец, — улыбались сыновья Иосеба.

— Если я не сделаю, никто не сделает. Теперь уж поздно, сынок. Печень, как закололи, сразу надо было вынимать, — смеясь, отвечал Иосеб.

Жена Иосеба, главнокомандующий в этом деле, отдавала распоряжения:

— Погодите на загривке выщипывать, перво-наперво голову и ноги обработайте! Переворачивайте, чтобы брюхо не уварилось!

— Ты хоть при гостях профессора из себя не строй! — ворчал Иосеб.

Но жена продолжала свое:

— Лохань неровно стоит, недотепы, вода вся на сторону сливается.

В этом она была права, эта сухая, как спица, женщина. Мы приподняли корыто, подперли поленьями.

Подошел сосед, стал давать советы:

— Закутайте ее в старую телогрейку, макните в кипяток и достанете из воды розовую и чистенькую, как выкупанная невеста.

— Да погоди ты! — отмахнулся Иосеб.

И точно, не понадобились нам ни телогрейка, ни прочие штучки; свинью ошпарили, щетину повыдергали и, красивую, перенесли на плетеную подстилку, уложенную поверх поленьев. Там стали поливать ее и обмывать холодной водой.

Иосеб послал женщин за большими глазурированными глиняными мисками.

Пришли вперевалку пузатенькие внуки, они тоже с удовольствием пошлепывали по гладкому, ошпаренному брюху свиньи своими маленькими ладошками.

Иосеб взял острый мясницкий нож с источенным лезвием, крикнул свинье: «Спрячь бесчестье!» — и полоснул ее по горлу.

Свинья «спрятала бесчестье», то есть у нее не оказалось солитера или еще какой-нибудь пакости.

— Прямо как роза! Глянь, как роза! — восклицали довольные сыновья Иосеба.

— Да вы что, право! Такая была умница, в ней не могло завестись ничего такого! — приложила печать жена Иосеба.

Иосеб стал потрошить свинью.

— Печень, батя! Печень давай! — Сыновья топтались возле него нетерпеливо, как маленькие.

— Нате, секите помельче! — Иосеб извлек печень с внутренностями и протянул сыновьям.

Парни бегом рванули к дому, бросили печень в казан и принялись мелко нарезать. Младший вернулся к огню с желчным пузырем на ладони, кинул его в котелок и крикнул:

— Ну-ка, поглядим, кого родит Жужуна: мальчика или девочку?

Этим заинтересовались и женщины — вернулись к огню. Пока женщины разглядывали желчный пузырь на углях, пока мы разделявали свинью, сыновья Иосеба измелчили печень с внутренностями и понесли казан к треноге на огне. Только они приблизились к огню, как звонко, с треском лопнул желчный пузырь. Все закричали: «Мальчик! Мальчик!» — и радость пробежала по лицам всех, даже моя жена улыбнулась так, будто не она твердит постоянно, что бог наказал ее, дав одних сыновей: «Была бы у меня хоть одна дочка-помощница, чтобы облегчить мне жизнь...»

А сыновья Иосеба поставили на треногу казан с печенью и внутренностями и подложили под него сухие грабовые поленья. Мать сердито прикрикнула на них, но они были так увлечены, что не слушали ее.

Пока мы отнесли в марани разделанную свинью, а Иосеб разрубил позвонок, срезал с него вырезку на шашлык и посыпал ее солью, перцем и луком, женщины накрыли наверху, в большой натопленной комнате, поистине безупречный стол.

Мы вымыли руки, распрямили натруженные поясницы и чуток передохнули, чуток погрелись у гудящей печки, расселись за столом, пустили по кругу по одной мятной наливке, тут и каурму из печени объявили.

— Смотрите у меня, чтобы перцу хватало! Чтобы перцу хватало, не то убою! — кричал Иосеб.

— Пробуйте, люди, сами пробуйте! — Жена Иосеба обносила всех дымящейся глубокой миской.

И перцу в той каурме было вдоволь, и всего прочего.

— Охо-хо, от такой каурмы молодая жена без чонгури запляшет-заиграет! — кричал Иосеб, ему тоже пришлось по вкусу остроприправленная свежая печень.

— Да, не подвела наша короткохвостая, оправдала нашу надежду! — подтверждали сыновья.

Заработали над тарелками, задвигались старательно все — и стар и млад.

— Вина выпьем! Люди, вино киснет!

Выстроившись, стояли в ряд граненые стаканы с саперави.

— Господи! — Иосеб поднял свой стакан и возвел глаза к потолку. — Благодать грядущего года, пусть у нас будут хорошая зима и доброе лето, пусть урожай наш не оскудевает, да будут наши мужчины во всем мужчинами, женщины — женщинами, а дети — детьми, и пусть даже нашему покойнику будет лучше, чем покойнику наших врагов!

Поставили на стол опорожненные стаканы.

— Ну, как идет? — спросил меня Иосеб.

Я основательно углубился в свою тарелку с каурмой и потому только поднял большой палец.

— Вот так...

Второй стакан. Третий. Четвертый. Следом за каурмой подали вареные позвонки — постные, без жира, погрызть с ткемали и острыми приправами.

— Ух ты! Ух! — доносилось со всех сторон.

После вареных позвонков сыновья Иосеба бегом принесли снизу шашлыки. Да какие! Надетые на полутораметровые деревянные шампуры, зарумянившиеся, шипящие. Моя жена с улыбкой шепнула мне:

— Ой, я, кажется, умру!

— Не бойся, не умрешь, — ответил я.

Один сосед присоединился к нашему застолью с самого начала, двое мужчин и две женщины подошли попозже. После них пришел еще один — высокий, сухой, с красным лицом, вроде как обожженный.

Распробовали шашлыки, перевели дух, и Иосеб тонюсенько, чуть не фальцетом, завел, запустил вверх «Диамбего»¹: «Диамбего, диамбего, жену твою хвалят, выйдет на балкон, хрустальными пальчиками по перилам поигрывает...» Тоненько и мягко, точно воркуя, вполсилы подхватили и повели все, и Иосеб, и его сыновья. А высокий краснолицый сосед прямо в игольное ушко продевал свой первый голос опытного дружки. Один я пробовал вторить на низах — тоже мне, сионский колокол!..

— Чтoб шашлыки не кончались и не остывали! — кричал Иосеб.

Вскакивали сыновья Иосеба и бежали вниз, к главнокомандующему, к матери, по-прежнему хлопотавшей у огня. И в самом деле, шли и шли снизу — свежие, с пылу с жару шашлыки: теперь всех потянуло на маринады: крупные и твердые, как яблоки, помидоры, напичканные чесноком и зеленью! А какие огурцы! Какая алая капуста!..

Иосеб с грустью затянул старую местную «В услуженье у других»: «Коль поймашь, парень, зайца, мясо — нам, шкура — тебе, коль поймашь ты лисицу, мясо — тебе, шкура — нам...» Спели складно. Даже слезы на глазах выступили. С каждой песней получалось стройнее и лучше. Потом спели: «Ох, мой белый гусь», «Эй, парень из Анагури», «Дрозд

¹ Диамбег — пристав (груз.).

с куропаткой состязались». Под конец, это я еще помню: «Что ты смотришь, что ты смотришь на меня». Помню еще, что внесли в больших мисках жареные кукурузные хлопья — дескать, они хорошо вино впитывают — и раздали, ко всеобщему удовольствию, по всему столу. Поднялся хруст. Под хруст кукурузных хлопьев спели еще «Парень девушку в лес завлек, говорит, покажу тебе гнездышко...» — а дальше уже ничего не помню.

Проснулся я в темноте. Голова тяжелая, рот — пересохший, а душу переполняла тоска. Не сразу и сообразил, где я — в городе или в деревне. Запах вина, солений, мяса — я все вспомнил. А немного погода даже разобрался, где окна и где двери. Рукой нашарил ночник. Включил. Тут же сердито шикнула жена: «Погаси! Ты выспался, а мы только легли».

Погасил я ночник и затих. Лежал, слушал гул сердцеебия по всему телу, ворочался с боку на бок, но заснуть никак не удавалось. Откуда-то слышался храп Иосеба. Против моей воли этот храп, запах еды, пересохший, горький рот и горящие виски напоминали мне закалывание свиньи и подробности застолья. Я отчетливо видел себя — усердствовавшего над миской, хохочущего, болтливого, поющего, пошатающегося и натякающегося на печку. Тьфу!.. Я ложился ничком, зажимал ладонями уши, но и в таком положении до меня доносился храп и запах; переворачивался на спину — и... хоть помирай.

Тогда я осторожно поднялся, чувствуя озноб во всем теле. Сдерживая дыхание, оделся. Мое ружье и патронташ висели на вешалке для одежды, я снял их, со всеми предосторожностями открыл дверь и выбрался наружу. Приятный морозец охватил меня. Я вдыхал его, вдыхал жадно, с облегчением. Спустился по лестнице — снег захрустел под ногами; я потянулся к заново нанесенному чистейшему снегу, зачерпнул горсть, потер лицо, смочил рот. Заскулила и смолкла в конуре собака. Похоже, и корова в хлеву услыхала, что кто-то вышел из дома: она шумно вздохнула и стукнула чем-то.

Ночь стояла светлая, лунная, снежная; тускло мерцали звезды. Сапоги на мне были хорошие, да и кожушок тоже. Я застегнулся до горла. Перетянулся поверх тулупа патронташем, открыл калитку, вышел на дорогу, заложил ружье под мышку и пошел, похрустывая подмерзшим снегом. Я еще не знал, куда иду. Скоро свернул с дороги. Пыхтя, старательно карабкался по затвердевшим, занесенным и сглаженным снегом пригоркам, порой опирался на ружье, тер снегом за ушами, останавливался, озирался по сторонам, щурясь вглядывался в сумрачную ночную тишь. Постепенно вырисовывалась цель — я решил, что буду идти, пока хватит сил, пока не изгоню из тела тошнотворную тяжесть, и по пути смотреть и слушать, а потом вернуться... А если не вернуться...

Поднялся на пригорок, открылась просторная долина, местами поросшая кустарником. Шел я по долине, потом дубняком, потом по балке — ни звука, кроме моих шагов. Зато хруст шагов звучал так громко, что утомил меня, надоел. Подмерзший снежный наст почти не про-

ламывался под ногами. Черные с похмелья мысли жалили оводами. Какое я имел право — я, погрязший в долгах, обманувший надежды семьи, непригодный ни миру, ни близким, — петь, кутить и веселиться!.. Мне ли, такому никчемному, бояться зимней ночи, таинственных теней, притихших лесных чащ и мороза. Будет даже лучше, если что-нибудь избавит меня от жизни.

Я забрел в такую глухомань, что она и днем озадачила бы человека. Отовсюду меня обступили седые, поросшие лесом горы в туманной изморози, поникшие, печальные деревья. Тишина стояла полнейшая. Какие там волки и шакалы! Нет теперь зверя. До сих пор хоть мерцание снега радовало глаз — словно мириады мельчайших алмазов рассыпали по чистейшему снегу; я шел и похрустывал этими алмазами. А тут какая-то мгла напозлзла с юга, затянула луну, отсырел, потяжелел воздух, звук моих шагов сделался глуше, пропали, исчезли из виду горы, но я все шел в этой мгле. Наконец набрел на загон, выгороженный в открытом поле, и остановился. Это было заброшенное прибежище для скота. Тут же стояли старые копны сена. Я пролез сквозь балки ограды, подошел к копнам, разгреб одну из них, углубил хорошенько, забрался в углубление и сел, прижав ружье к плечу и закрыв глаза. Решил: посижу, передохну, побуду в одиночестве и пойду назад. Тепло копны, покой и запах сена растрогали меня, даже слезы навернулись на глаза. До чего же я потерял в этом мире! Сбил с толку жену, детей! Куда меня занесло? Где я и как пытаюсь исправить свое положение? А ведь люди ни минуты не теряют без толку!..

О-о, повалил снег. Полетели, закружились хлопья. Черт с ними! Вот усну и замерзну во сне... Я смотрел на медленные хлопья и страстно прижимался щекой к ружейному стволу — мне виделось, как сладостно пронзит мое сердце горячая пуля, пронзит и успокоит навсегда.

Пригрелся я в копне, сижу на грани сна и яви, между тем светом и этим; проносится надо мной ночная мгла, клубится туман, чуть слышно шепчут в соломе снежные хлопья. Что-то болит, что-то сладостно томит, все глубже проваливаюсь в темную, до черноты темную яму. Раздвигаю локти, цепляясь за края ямы, и твержу про себя: «Будь что будет!..»

И вот в этот мрак и безысходность вошло что-то приятное, что-то светлое; глянул я влево от себя и, ошеломленный, протер глаза. В снегу, в ночи, в туманной изморози движется свет, плотное неземное сияние, за ним нимбом летит стайка поющих птичек и пестрых бабочек. Смотрю я на это сияние и различаю — женщину. Вся золотистая, закутанная в поток золотых волос, идет все ближе и ближе и светит — волосами, глазами, всем. Страстно и гибко ступает босыми золотистыми ногами, празднично несет свои маленькие, сжавшиеся от холода груди с большими сосками и влечет за собой то ли сноп волос, то ли свет, несущийся следом. Вот приблизилась к ограде загона. И вижу — перед ней, чуть опережая, трусят два громадных волка, серых, как тень, трусят в ногу

друг с другом; обращенные ко мне глаза горят сосредоточенным вниманием, как огонек в приспущенной лампе, белые клыки грозно посверкивают. Женщина, проходя, оглядывается на меня, смотрит, и я хочу умереть: что за голубое сияние радости льется из ее глаз, какой добротой лучится улыбка в приподнятых уголках губ! Она смотрела на меня, смотрела, потом бережным и нежным жестом, как святую свечу, поднесла к губам два пальца, словно говоря мне: «Тише!» — и, запрещая что-то, покачала ими из стороны в сторону. Я приподнялся. Она пошла — вся сияние, вся улыбка; перед ней трусили огромные волки, следом летели поющие птицы и пестрые бабочки, и укрылась, исчезла во мгле, закуталась в туман. Запомнилось — в золотистом дыму волос размеренно двигались мышцы ее бедер и ног.

Я хотел встать и не мог. Стал колотить себя кулаками по коленям — убедился, что не сплю. Так что же это было? Что стряслось со мной?! Я сидел в старом загоне для скота, посреди затерянной долины зимней ночью; шел снег, падал мне на руки, на лицо... Я привстал, опираясь на ружье, пошел, пролез сквозь балки ограды, побежал. Я бежал в туманной мгле, но нигде ни следа, ни звука. Вернулся назад, к загону, забился в свой стожок; слезы ручьями текли из моих глаз, и сквозь слезы я еще раз увидел это сияние, этот неземной свет — теперь уже высоко, на склоне горы, он двигался справа налево, и опять въяве с прежней отчетливостью — ее глаза, ее улыбка, слаженный шаг бегущих в ногу волков. «Дали! Дали! Это ты, Дали?» — кричу, но не могу издать ни звука и обливаюсь слезами. Она опять поднесла к губам два пальца, потом покачала ими из стороны в сторону. Я вскинул ружье стволом вверх, но не смог нажать на курок.

Но вот она ушла, исчезла во мгле, в туманной изморози, а я устал от рыданий, изнемог и опять вскинул ружье, нажал на курок, и грянуло два раза подряд, гром выстрелов подбросил вверх навалившуюся тьму.

Потом я брел назад, опираясь на свое ружье, как на костыль.

Когда я вернулся в дом Иосеба, там все еще спали. Даже жена не заметила ни моего отсутствия, ни моего возвращения.

На другой день меня все спрашивали:

— Что с тобой? Может быть, тебе нехорошо после вина?

Я отрицательно качал головой.

И после возвращения в город я все молчал и молчал. Но одно чувствовал отчетливо — я был уже другой, моя душа обрела значение и вес в безликом море городского людя. И моя жена — высокая, самолюбивая гордячка — казалась мне теперь несчастной, измученной жизнью женщиной. Дела, к моему удивлению, вдруг пошли на лад, все стало получаться легко и просто.

Порой я ухожу из дому, пропадаю надолго: добираюсь среди ночи

¹ Дали — богиня охоты в грузинской мифологии.

до того покинутого загона, сажусь там и сижу, но женщина-видение больше не появляется ни в снег, ни в ведро. Я все-таки жду. Приятно это ожидание. А близкие думают, что меня гнетут тяжелые заботы.

Порой я спрашиваю себя: за что среди стольких людей она выбрала меня и почему именно в тот день, когда мы закололи свинью и так безобразно объелись и напились? Ответить на свой вопрос я не могу, но каждый раз, когда думаю об этом, вспоминаю случай из своей юности: однажды ночью в начале нашей улицы, в занесенных снегом кустах туи, я нашел маленькую плачущую глухонемую девочку, закутал ее в пальто и привел домой; мама обласкала ее, согрела, выкупала, уложила спать в чистую постель. А утром мы ее не нашли, она встала и ушла; больше мы о ней ничего не узнали — даже через милицию. И тут же я говорю себе: но ведь это было у-у как давно, и при чем тут заброшенный старый загон, ночь, лес под снегом... Да, леса, снег, долины и ночи я любил с детства и сейчас очень люблю...

ДОРОГА К МАТЕРИНСКОМУ ДОМУ

Старик с печальным, горестным лицом пишет: «И отправились мы в родное село твоей матери — ты, твоя мать и я.

Тогда я был молод, твоя мать — еще моложе, а ты совсем маленький — трех с половиной лет. Мы все очень любили дорогу к материнскому дому, даже на исходе осени, перед первыми заморозками. Тебе нравилось сминать и топтать башмачками глубокие, наезженные арбами колеи, сравнивая их с дорогой, твоей маме — вдыхать стекающий с гор ветерок, а мне — находить на голой, облетевшей лозе забытые гроздья винограда. Вы с мамой тоже очень любили забытые увядшие гроздья. Но почему-то чаще их находил я. Нет ничего вкуснее винограда, оставшегося на лозе до конца ноября. Найденным делились по ягодке. Точнее, я уступал свою долю маме, мама — тебе, а ты ел, и щечки у тебя раздувались, как у маленького зурнача.

Любили мы еще глубокую ложбину в долине Иори; мы и сейчас проходим ее, когда бываем в тех краях. В той ложбине обязательно сидели мы передохнуть под вязом, у основания его ствола в таинственном, затененном углублении. Сидели там тесно, поджав колени, — посередине ты, а по бокам мы с мамой. Очень хорошо было сидеть в пахнущем землей и палыми листьями сумраке, точно мы первобытные люди, и выглядывать из нашей пещерки блестящими глазами. На тонких ветвях вяза, колышущихся над нами, взбухали черные почки, похожие на больших муравьев. Из дебрей слышался посвист дрозда, писк кедровки, а снизу из ложбины доносились лепет и воркование ручья. Иногда, на радость нам, они перепархивали перед нами — эти кедровки, дрозды, а также зяблики, горишховстки и синицы.

Потом мы переходили вброд нашу чистую Иори. Мы с матерью

снимали обувь, я сажал тебя на плечи, брал маму за руку, и мы сильными ногами с плеском рассекали быструю, упругую волну. У мамы намок подол платья; она отжимала его на берегу, и какое-то время мы шлепали по тропе босиком. Приятно было ступать босыми ногами по теплему песку.

Но это лето. А тогда, в конце осени, перед первыми зазимками, я не мог позволить матери ступать босиком по холодной воде — на вершинах гор уже белел снег.

Сперва я перенес тебя, поставил на том берегу и наказал стоять на месте, пока не перенесу маму. «Хорошо», — кивнул ты, не поднимая глаз. Я повернул назад, вошел в воду, дошел почти до середины и вдруг увидел, что ты бежишь впереvalку за мной и не обращаешь внимания ни на крики матери с того берега, ни на мой крик: «Стой! Стой!» Я еле успел выскочить назад — перехватил тебя у самой кромки воды. На этот раз отвел подальше, обстоятельно и строго объяснил, в чем дело, и уговорил подождать: «Ты уже большой мальчик, а ведешь себя как маленький. Потерпи совсем немного, и я приведу к тебе маму!» Ты опять согласно кивал: «Хорошо». Но только я пошел к реке и вошел в воду, ты огляделся и, то ли испугавшись чего-то, то ли из упрямства, припустился за мной. И опять я еще успел перехватить тебя у воды.

Делать было нечего. Я посадил тебя на плечи и перенес к маме. Теперь мы вдвоем стали объяснять тебе, что нет ничего страшного — через две минуты я вернусь за тобой, только перенесу на тот берег маму и сразу же вернусь. Ты молча кивал: не сойду, дескать, с места. Я поднял маму, вошел в воду, и ты тут же бросился за нами. Тогда я велел маме взять тебя на руки. Мама удивленно взглянула на меня. «Возьми, возьми!» — повторил я. Она взяла тебя, а я поднял вас обоих, и так, в три этажа, смеясь и вскрикивая от восторга, мы перешли Иори.

Твоей радости не было границ. Да и моей тоже — оттого что я смог это сделать, что я такой сильный. «Еще! Еще! Еще!» — вопил ты в восторге. «Что «еще»?» — «Пожалуйста, перенеси нас еще раз!»

Я был молод и, несмотря на недовольство мамы, еще раз перенес вас через холодную реку туда и обратно...

Старик с горестным лицом перестает писать, не отрываясь смотрит в окно. За окном ветрено; к дождю примешиваются мелкие снежные хлопья.

Старик подпирает рукой отяжелевшую голову.

НЕПУТЕВЫЕ

И что это за видение преследует меня, чего ему надо?

— Птицы разграбили беседку, расклевали весь виноград!

Вынес Шала две палки, одну подлиннее, другую покороче. Вынес еще молоток и гвозди. Приколотил короткую палку к длинной, получился крест. Прислонил тот крест к стене. Пошел и вынес из марани об-

ломанный кувшин без ручки. Надел кувшин на крест — черный-пречерный кувшин; мелом нарисовал на нем большие добрые глаза, большой, немножко кривой нос, большой, чуть не до ушей, смеющийся рот, полный больших белых зубов; вынес белую пастушью папаху и шинель. Папаху надел на кувшин, а шинель на крест, перетянул ее веревкой, поднял высоко над виноградной беседкой и прикрепил к столбу; очень старательно прирепил, раза два веревкой обмотал «парня», чтобы не сбежал никуда.

Прошла мимо Тако, полногрудая смешливая соседская девчонка. Движением головы откинула назад волосы, глянула поверх беседки и усмехнулась.

— Как его звать-то?

— Шала,— с улыбкой ответил Шала.

Тако взглянула на Шалу:

— Похож.

Она думала, что получит в ответ подзатыльник или щелчок по лбу, и убежала, но оба Шалы смотрели ей вслед и смеялись.

Пошла Тако и тоже приколотила к длинной палке короткую, вынесла полу тыкву, надела ее на крест, тыква была красная-красная, прямо полыхающая. Угольком навела на ней брови стрелами, длинные, опущенные вниз ресницы, чуть приподнятые в уголках губы бантиком; вынесла бабушкин платок, повязала красиво, вынесла синее платье в горошек с вырезом на груди (платье, кажется, было мамино), надела и платье, перетянула пояском. Затем подняла свою «девушку» над беседкой, кое-как с трудом подняла и, раза два обмотав веревкой, прикрепила к столбу.

Стояла девушка над беседкой Тако, ветерок раздувал подол ее платья, порой слишком приподнимал; она краснела и стыдливо опускала ресницы.

Тако мысленно назвала свою «девушку» Тако.

Прилетели воробьи, видят — над той беседкой Шала стоит, раскинул руки, смеется — рот до ушей, над этой беседкой — застенчивая Тако, и не посмели клевать виноград, разлетелись.

А прохожие добродушно улыбались и долго не могли оторвать глаз от этих Шала и Тако: Тако все хотела оправить раздутое ветерком платье и не могла; она стыдилась прохожих и стояла потупясь, опустив длинные реснички. А Шала нет,— когда ветер трепал полы его шинели, Шала смеялся.

Но вот наступила ночь, выкатилась на небо луна. Прошли последние путники — кто в гору, кто под гору. Уснули все, даже бабушка. А Шала и Тако стояли, один в одном дворе, другая — в другом, один — смеющийся, радостный, другая — смущенная. А когда наконец смолкла сова, Шала подал голос:

— Гого!

Тако не отвечала.

— Какая ты красивая, гого!
Тако промолчала, только еще больше смутилась.
— Ну приди к нам хоть ненадолго.
Тако и вовсе затаилась, молчит.
— Ну, приди, гого!
Тако едва заметно качнула головой, как будто не она, а ветерок в том виноват.
— Ну, приди, гого!
Тако опять качнула головой, на этот раз заметнее.
— Не смотри, что я такой черный. Черный я, но не черт же я!
Тако, чтобы не рассмеяться, еще больше отвернулась в сторону.
— Ух, если б я не стоял тут на часах и не отпугивал птиц!..
— Где теперь птицы, парены!..
А Шала и Тако — те, что в домах, — вроде бы спали.
А бабушка Тако — старенькая Тапло — бормотала во сне:
— Непутевые. Ох, непутевые!..

КРЕПЫШИ

Пошли в Бебричала свиней покупать. Я иду и этот — этот Пузырь. Дводем идем.

У меня с собой сто рублей, у него — сто двадцать, все своими руками заработанная халтура: он три дня Татарашвили подсоблял, плотничал у него — это сорок пять рублей, два дня у Чхебиани — это тридцатка, два дня у Паруса и денек еще у Лонгиноза. Закатал деньги в женин платок, повязался им под рубахой, а сверху еще веревкой обмотался раз семь или восемь. А поверх рубахи — бушлат. Снег лежит, на нас сапоги и бушлаты, и тот бушлат ему аж посюда, ниже колен хлопает.

Пристал в одну душу: хочешь не хочешь, пойдем, говорит, пешком, ну чего ты, чего жмешься, тут и расстояния-то всего тьфу! А сам знаешь, как он чапает на своих укороченных: то ли идет, то ли катится. Но повел. Шагаем по снегу, он впереди, дорогу торит. Нагоняет нас сын Джамбазы — Шута, притормозил: садитесь. Этот ни в какую. Слышишь, что ли? Не сяду, говорит, и все, на кой нам машина! Прицыкнул на него джамбазовский парень: «Эх ты, темнота!» — тут наконец решился Пузырь. Залезли в кузов, я позади кабины на корточках присел, а он стоит, ветерком себе физию охлаждает. Так и докатил нас джамбазовский наследник до моста, сам свернул вниз, к мельнице, а нас на дороге ссадил, немножко не доезжая.

Слезли, идем дальше, и опять этот Пузырь бухтит, горячится, все твердит:

— Я его отблагодарю. Я его вином угощу. Сам знаешь, какое у меня вино!

Я киваю с серьезным видом:

— Надо отблагодарить, а как же! Если не сегодня, то хоть осенью, когда избой очистится. Поставим человеку по кувшинчику, заслужил.

— Э-э, ты чо зубы скалишь? — Ведь смысленный, черт, сообразил, что я насмешничаю, но все стоит на своем: — Мне чужого ни-ни. К чему своих рук не приложил, чего своим горбом не заработал, мне того и не надо.

Все твердит: «сам», «своим горбом» — и руки показывает. Слышь, что ли? Дескать, вот какой я работага.

— Ладно, — говорю. — Сам так сам, делай как знаешь.

Слово за слово, и дошли мы, между прочим, до Бебричала.

Я вроде сказал — снежно! Снежно, но деньки последние перед Новым годом, и базар все-таки хороший. И свиней и всякого другого скота много! Бабы в платки замотались, стоят у прилавков, дышат на руки. Тут и там костерки развели. Сидит у тех костерков бродячий люд, легкий на подъем, к дорогам привычный, сидят, пьют помаленьку.

Прошли мы мимо свиней разок, другой, сперва в одну сторону, потом в другую, стали прицениваться. То одной свинке брюхо поскребем, то другую за ухом почешем. Был там пожилой пшав, пригнал стадо свиней на продажу, повесил на крюк здоровенный мешок, в мешке желуди; вытащит горсть, кинет свиньям, а сам на посох опирается, запустит руку в мешок поглубже, зачерпнет побольше и бросит. Свиньи лопают вовсю. Одного хряка в этом стаде и приглядел мой Пузырь, как говорит, глаз положил. Хряк черный, глазки маленькие, смотрят злобно — жуть, а клыки — во! И щетина яди на полторы торчком стоит.

Я купил себе чистую, хорошенькую свинку, ее женщина из Палдо продавала, — сразу видать, чуть не с руки вскормленная. Купил на вес — десять рублей за кило живого веса, тогда так было. Пшав своих свиней тоже на вес продает, но Пузырь ни в какую. «Знать, — говорит, — никакого веса не знаю!» Пшав своего хряка оценивает в сто пятьдесят рублей. «Он, — говорит, — вон какой здоровый». А Пузырь дает сто. Уйдет, вроде совсем, залезет в скобяную лавку и оттуда поглядываст одним глазком. Выйдет и опять на своем стоит: сто, и все тут!

Пшав говорит:

— Давай взвесим.

И другие то же самое:

— Взвесьте его, и дело с концом.

А Пузырь свое твердит:

— Если б я хотел мясо на вес купить, его вон сколько развешано...

Уйдет, пропадет, потом вернется и накинёт пятерку. Сам извелся, того пшава извел и людей вокруг замучил, тех, что весь этот торг наблюдали, но одолел-таки, обломал, за сто десять рублей уступил пшав.

— Только, — говорит, — увези его на машине, пехом не сможешь, трудно тебе придется.

Пузырь в ответ ни полслова. Отсчитал сто десять рублей, оставшуюся десятку запеленал в платок и повязался под рубахой. Веревку, что

с собой прихватил — прочная веревка была, настоящая, — размотал, сделал петлю и на хрюка надеть собирается. А пshaw все свое твердит:

— Не делай этого, одному с ним не справиться.

И люди ему то же говорят.

Но Пузырь мой сделал петлю, тихо так сказал «хрюша-хрюша» и — хочешь верь, хочешь не верь, и сейчас не пойму, как ему это удалось, — накиннул петлю кабану на шею и завязал, а другой конец к своему широкому ремню приторочил. Люди заахали:

— Ты к ремню не привязывай, чудака, как бы он не изувечил тебя.

Но Пузырь на своем стоит, никого не слушает, на ремне затянул узелок потуже, выдрал хворостину из ограды, отделил хрюка от других свиней и погнал. Весь базар на него смотрит. Отовсюду только и слышно: «Уведет», «Не уведет».

— Спокуха! — ощеряется Пузырь и велит мне вперед идти.

Погнал я свою свинку. Моя умная, ей никаких «хрю-хрю» и «тц-тц» не требуется, идет сама. И тот зверь черный следом, то есть хрюка. Что ему Пузырь толкует, не знаю, но время от времени шепчет что-то на ухо. Все, кто были на базаре, так от удивления рты и поразевали.

Поднялись мы наверх, перешли через мост и свернули к совхозным виноградникам. Теперь уже он впереди. Пузырь погоняет хворостинкой того кабана, что твоего ягненка, на руках выращенного. Дошли до сторожевой будки и там в первый раз остановились — и кабан стал, и Пузырь.

— Пусть его отдохнет, — говорит, — запарились малость.

Только я обхожу его со своей умной свинкой, только мы поравнялись... вижу, кабанище башку наклонил, рыло в пене и глазками недобро зыркает. Только, значит, я с ним поравнялся, он рыкнул разок и как рванет, у Пузыря моего шапка вон аж куда отлетела! Шапка в одну сторону, хворостина — в другую. Поначалу побежал за ним немножко, а потом рухнул. Слышишь, что ли, — упал! На дороге снег лежит, идти скользко, ему, на земле лежучи, ухватиться не за что. Бежит кабан и тащит Пузыря, тащит за собой, как молотильную доску. Моя увидела, что тот натворил, и тоже как припустит! В другую сторону бросилась, в виноградник, забегала, заплеталась между лозами. Запутались мы с ней, и остановились оба как привязанные. Стою, то ласково приманиваю, то ругаю последними словами. И тут — к этому времени я решил, что кабан Пузыря уже назад до рынка дотащил, — вижу, он обратно его волочит! Пузырь вцепился в веревку, ни звука не издает, а кабан его тащит. Не дай бог, если какой камень на дороге, разможжит башку, разобьет как яйцо. А Пузырю этому хоть бы что: глаза у него такие, будто он любимую тетюшку на дороге поджидает.

— Шапку! — только успел крикнуть он и пронесся мимо.

Мне и своих забот хватает, я свою свинку пытаюсь образумить, до шапки ли мне, сам подумай! Из-под одного куста выволоку, она под другой лезет, вымазала меня всего, извозюкала, и тут опять слышу:

— Шапку! Слышишь, парень, шапку!

Развернул кабан моего Пузыря и опять под гору тащит, к базару. Увидала моя свинка такое дело и припустила следом. У меня сердце кровью обливается, нету, думаю, больше моего Пузыря, износился об дорогу, истерся до костей. А он издали из-под горы утешает меня:

— Не бойся, они скоро устанут и остановятся.

Я уже до того избегался, что вот-вот отпущу свою свинью ко всем чертям, а он свое твердит:

— Устанут, остановятся...

Я за своей пыхчу, его кабан по дороге тащит, и так выволокли они нас на шоссе. Тут уж Пузырь призадумался — с грузовиком-то встретиться неохота. Подтянулся на веревке, еще короче, подобрался и хватъ кабана за задние ноги. Тот озлился, оцетинился — жуть! Смотреть страшно — хоть глаза закрывай. Клыком саданет — распорет как наметку. А Пузырь все свое:

— Не бойся, скоро устанет.

Поволок его кабан мимо меня. А я кое-как развернул свою свинью. И вот когда иду, озираюсь, из виду их потерял, вдруг он навстречу — ощеряется.

Я говорю:

— Чего с кабаном сделал?

— Привязал. Он там как отутюженный.

Отыскал в кювете шапку, надел и пошел за мной.

Кабан у него к ореховому дереву был привязан, аккуратно так, не в спешке, даже красиво. Спокойно отвязал его, прикрикнул и повел. Идет кабан, задумался, погрустнел. Трусит за ним моя свинка. А Пузырь шагает следом и скалитися:

— Я же говорил: побеждает-побеждает и станет. И ведь стал, навроде нашего Вануа! Тот тоже бегал-бегал, носился-носился, то в Баку, то в Россию, то в Закаталы, а потом вернулся и стал, так и этот.

Когда добрались до совхозных марани, он расстегнул бушлат и задрал рубаху.

— Немножко, — говорит, — саднит, видать, оцарапался.

Куда там — оцарапался! Он был весь синий, точно в синьке вывалили. И все-таки ощерялся:

— Как налажу над огнем шашлыки из здоровых кусков, сразу все пройдет!..

И наладил. Под Новый год в снег и мороз прямо во дворе развел большой костер, и у каждого в руках был свой шампур: у Пузыря, у детей и у жены тоже. Им что мороз, что ведро! Простуда не грозит! И жена, и дети такие же, как он: огрей оглоблей — не моргнут. А ростом все маленькие — крепыши-боровички. И песню любят эту, как ее: «Как ворвемся, налетим...»¹ Нет, брат, не дай бог, чтобы они на кого налетели! Врагу не пожелаю.

¹ Слова из народной песни.

СТАРАЯ ГРУЗИНКА

Лущит фасоль бабка Дарья, сухая, тощая, черная, как призрак, лущит быстро, ловко, даже зло, и рассказывает то с улыбкой, то с болью:

— Вот вы смóтрите на меня и думаете, я всегда была такая! Э-эх!.. Пока не привезли меня сюда, в эту деревню, безжалостную, как собачий ошейник, я пяточками земли не касалась, все на цыпочках ходила, как царевна. Туфель на высоких каблучках у меня не было — откуда, кто мне их даст, на каблучках. Моим родителям чувяки от простого чувячника и то были дороги, а я все одно на цыпочках бегала, на носочках, и на всех, этак изогнув шейку, свысока поглядывала. Бывало, покажется на дороге городской дилижанс, я оглажу подол, отряхну и встану на обочине: пробегут лошадки, бренча колокольцами, обдаст с той стороны ветерком, подхватит мои волосы, зашелестят реснички, изумленно воззрятся на меня женщины и мужчины из дилижанса, — словно я зажженную свечу поднесла, так озарялись у них лица. Губы и щеки у меня были что розы и лилии, зубки сахарные. Все мне казалось: вот однажды остановится дилижанс, выйдет из него высокий, стройный офицер с саблей на боку, возьмет меня за руку и поведет во дворец с зеркалами. Ночью спать ложилась счастливая, поутру просыпалась еще счастливее. Словно и платья на мне не было: раскидывала руки, и даже мороз ластился ко мне, ласкался мягко, как пух. Для меня одной заливались птицы.

И семнадцати-то мне не было, когда взяли меня за руки мои недоброй памяти тетки... Что? Что я сказала?! Сказала и еще раз повторю: взяли меня за руки недоброй памяти тетки, сестры отца, и отдали этому жалкому Сосиа. Я плачу, плачу, убиваюсь прямо, а тетки — крупные были женщины, рыхлые, в один год преставились — подперли меня с боков и щиплют: заткнись сейчас же, дура, вот уж точно с посконным рылом в калашный ряд, знаешь ли ты, вертихвостка-ветреница, в какую семью идешь, в какой достаток? У них такие хоромы просторные — хоть скачки устраивай... Они меня ветреницей обзывают, а я, как вчера помню, от этих слов пуще захожусь, плачу, плачу, прямо сердце живое выплакала.

Пришла чертовка свекруха, смотрела, смотрела на меня, потом кругом обошла, вроде я крепость какая, скривила губы, покачала головой этак с боку на бок, а мои родители, божьи рабы, стоят при этом, как свидетели, отец так даже глаз на смеет поднять. А бедняга Сосиа, когда ему велели подойти надеть кольцо, до того растерялся, что на указательный палец надел. Обручили меня, окольцевали тем толстым кольцом, которое я потом жене Вануши отдала, — на кой шут мне кольца, только их моим рукам доставало. Наелись мужики, напились, нагалделись, пригнали крытую коврами арбу — в феврале было дело, в слякоть, снег и туман, — усадили меня. Сосиа моего не видать, то ли прячется, то ли

робеет — нет его. А тетушки уселись — одна с той стороны, другая с этой, развесили свои подбородки и повезли меня сюда, в этот дом, будь он неладен, гнуснее и места-то нет на земле — смрад один. Сказала и еще повторю: таких жадных людей в целом мире не сыскать. Мы — что! Бедные мы были или вовсе неимущие, у нас хоть душа человеческая, мы не смотрели, как мыши, чего бы в свою нору утянуть.

Дайте уж досказать чего хочу.

Через Иори еле переправились; темень, темень такая, что аж глазные яблоки болят и даже в ушах звон. Стали взбираться на какой-то пригорок, арба перевернулась, деверь мой вымок с головы до ног. Поднялись в деревню и то туда свернем с проселочной, то сюда, а деверь все шипит, шепотом покрикивает на волов: «Чтоб вас!..» Видать, хотят незаметно провезти невесту, чтоб деревня не узнала. И все-таки кто-то пронюхал; у родника загородили дорогу, вытянулись печочкой, тихонько лопотали-бормотали чего-то — торговались, кое-как требовали с деверя пять рублей — выкуп за невесту; повезли меня дальше и привезли в эти самые закарашвилевские хоромы, чтоб оно стгнуло, старое время, да и стгнуло, слава богу, вместе с теми хоротами. Дом называется, слышишь? А что в том доме? Две комнаты, обе с земляным полом, в одной комнате деверь с семьей, в другой мы с Сосией да свекор со свекровью. Есть еще большой хлев, загон для коз, амбар, марани, курятник — вот там они и живут всей душой, за них и держатся мертвой хваткой. У них скот какой-то беспородный, скучный, и сами на ту скотину похожи — унылые, понурые, долу клонятся и друг друга попрекают по пустякам. А этого Сосия вроде как и вовсе нету, не существует, вроде как об землю размазан. Мне, бедняжке, конечно, ничего не сказали, но скоро я узнала, что одну жену или уже извели, успели... Я у Сосии вторая, потому и провезли втихаря, шепотом да крадучись. Но привезли, сыграли что-то вроде свадьбы, а наутро запрягли, и с тех пор я, как та кобыла, что на гумне зерно молотит, так и кручусь с завязанными глазами. А что делать? Я грузинка, родительская дочь, родне своей хозяйка, запрягли меня, я и кручусь, но сердце-то все свое делает: бывало, вынесу курам поклевать в миске, махну рукой вот эдак, глазом на свою руку погляжу и чую, опять на носочках стою, опять ветерок волосы мои треплет и реснички щекочет, опять хороша, опять царевна!.. Зайду в курятник, будто бы гнездышки куриные проведать, поплачу, нареву — и назад.

Свекруха моя, чертовка, со мной только отвернувшись разговаривает, и свекор тоже, и деверь. Даже этот никчемный Сосия. А чего говорят, послушали бы: это сделать, то сработать, там спроворить — вот и вся премудрость, одним только делом озабочены, какая-то далекая цель у всех. Встают затемно и с сумерками в дом заходят. Когда мы старый дом разрушили, извлекла моя чертовка свекровь из стены пять тысяч рублей николаевских денег, один к одному сложенные, в тряпочку завернутые, показала мне, а сама ревет — пропали, говорит, такие день-

ги. На всю семью одну маленькую лампу держат — керосин экономят. Сосиа своей волей ни тратить не может, ни беречь, всему голова свекор со свекровью. Свекор единственный коротенький тулуп все носил-носил, пока война не кончилась... Купили и мне кое-что, но зачем — не ведаю. Меня из дому ни на шаг, даже на родник не пускают — оглядеться, глаза раскрыть. Томят, как в застенке.

На пасху, в светлое Христово воскресенье, повели наконец в церковь — сподобилась. Иду по дороге, нарядная, пестрым платком повязана, иду и чувствую, уже не та я, что была, не ласкает мне душу мягкий ветерок, но, однако, красиво иду, не как другие, и заметная, яркая, как цветок, что из прели проклюнется. Вот так-то!.. А никто на меня не радуется, не сияет. Пожалуй, даже хмурятся. Я тогда про зависть не знала, не понимала, что люди порой в землю друг друга зарыть готовы! Сердечко в груди, как перепуганный воробышек, трепыхалось.

Был в этих краях поп, у-у, особенный, вы, верно, его не помните, не застали — в душе кот гулливый, блудоглазый, краснощекий. Один только он обрадовался мне, взял за ручку, взвесил ее в своей руке, пощупал, сколь тонка и нежна ли... Смотрел на меня, смотрел и сладким, нечистым шепотом сказал: «Весь род Закарашвили, все персть земная, а ты небесная, что та звездочка. Жалко тебя, дочь моя, жалко», — и пальцами по запястью вкрадчиво погладил.

Вырвала я руку и ушла.

Четверых сыновей родила я и вырастила, все рослые, стройные, голенастые. Обо мне худого не скажут, блюла себя в строгости, но, что скрывать, день и ночь мне тот сладкий шепот слышался. Поп мне точно глаза на мужнину родню раскрыл, и увидела я, что только земля притягивала их к себе — всех, от свекра и свекрови начиная. Только землю они уважали и земли боялись. Вот и я ничего другого не видела: косьба и молотьба, молотьба и скотина, скотина и виноградник. Там и люлька моя стояла — то в винограднике, то на ниве. Порой, оставшись одна, садилась и плакала, оплакивала свою красоту. Единственный, кто ее оценил, был блудоглазый, лукавый поп, он на верных весах взвесил, и цену настоящую сказал, и сам обрадовался, и меня порадовал, в самое сердце попал. Но, как я говорила, я грузинка старого закала, строгих правил, с тех пор к тому попу и близко не подходила, ни для радости, ни душу отвести. А совсем скоро уже и оплакивать мне было нечего, земля поглотила, гумно перемололо мою красоту. Как пошла, с тех пор так и иду, уткнувшись долу, опустив голову, стерев ярмом холку до крови. В кои веки подниму голову и увижу звезды на небе.

Да разве я одна? Сколько женской красоты развеяно, как полова на гумне!

Чтоб оно сгнуло, старое время! И сгнуло, слава богу, а с ним вместе и те, кто его нахваливал. Да все оно одного поцелуя не стоило, такого, каким нынче мужчина с женщиной в кино целуются.

БЕЛЫЙ ОТСВЕТ СНЕГА

Слышишь? Немного помедленнее, не спеши. У меня какая-то чушь вертится в голове и, если не скажу, задохнусь. Ну, оттаял, ну размяк — опусти сейчас в вазу с водой, корни пушу, ей-богу, корни и цветочки. Со мной такое случается от вина. От вина, от осенних туманов и еще когда выпадает первый снег! Нет, видит бог, стихов в жизни не писал. А вообще-то удивляюсь!.. «Венчалась Мери в ночь дождей, и в ночь дождей я проклял Мери...» Удивительные люди поэты... «Потеряла, бросила, как черкес стрелу...» А однажды знаешь что я прочитал? Женщина написала: «Мои груди все время повторяют впадины твоих ладоней». Что-то в этом роде... Ладно, погоди, не надо. Ну, не надо, прошу тебя! Лучше посмотри на этот балкон, поникший, с облупившейся краской. Там жила наша учительница русского языка, Манана Георгиевна, состарившаяся в одиночестве, без семьи, без детей, воспитанница какого-то пансиона для благородных девиц. Французским владела, как мы с тобой грузинским. Когда-то она была замужем за офицером. Она прятала его фотографию, только раз мне показала: настоящий красавец-грузин с тонким, сухощавым и гордым лицом, двадцати пяти лет погиб в Батуми. Кто только к ней потом не сватался, видная была женщина, и в старости была хороша, высокая, статная, — но больше замуж не пошла. Говорила: «Не забывайте, что я грузинка...» Мы, ученики, очень ее любили. После занятий часто ходили к ней домой, то в лото играли, то в домино, а когда и хихикали вместе готовили. Но чем бы ни занимались, разговаривали только по-русски, такое было правило. «Помните, — твердила она нам, — вы должны в совершенстве овладеть русским языком». Мы и старались. Если я сегодня что-то знаю — благодаря Манане Георгиевне... Она умерла не то в шестьдесят третьем, не то в шестьдесят четвертом, и даже оплакать ее было некому, кроме нас, бывших учеников. Но что правда, то правда, похоронили мы ее очень хорошо и поминки устроили красивые. Ты знаешь, что она завещала? В нижнем ящике комода у нее хранилась сабля: так она просила положить ее с ней в могилу. Так мы и сделали. Положили ей на грудь и поверх нее скрестили руки. Чья была сабля, не знаю — отца, деда или мужа? Скорее всего, мужа, а может быть, и отца, не знаю... Наши девочки очень плакали на похоронах... Ну, ладно, ладно... Я понимаю, что тебе нет дела ни до учительницы, ни до сабли, но послушай, к чему я все это рассказываю.

Сорок второй год, и эта же пора стоит — декабрь, первый снег только-только выпал. Немцы во-он там, по ту сторону Кавказиони, но здесь тихо и спокойно, даже тише и спокойнее, чем сейчас. А потому что из дому никто не выходит, а кто выходит, старается не шуметь! Снег местами протаял... У меня отпуск, с тем и прибыл. Ты знаешь, что со мной тогда случилось? В Баку закончил шестимесячную школу, прикрепили мне к петлицам по два зеленых кубика и — на фронт, на передовую. Но не успели переправиться через Терек, как налетели немецкие самолеты

и разбомбили наш эшелон к чертовой матери. Мне осколком бомбы разворотило голень левой ноги. Столько крови потерял, что чуть концы не отдал, в глазах померкло. Подобрали меня, положили на носилки, повезли назад. Сперва в полевом госпитале отлеживался, потом в Махачкале. Месяца через полтора кое-как встал на костыли. Был там главврач, добрая душа, взял и отправил меня на побывку домой, на целый месяц. Приехал. Тогда отец еще здесь работал, мы жили внизу, у моста, в государственных домах. Мои рады, а я как воды в рот набрал, зубы стиснул, молчу, из дому не выхожу; мне двадцать лет, и, видишь ли, стыдно на люди показаться. Когда уходил на фронт, всем говорил, что или погибну, или вернусь героем! А на самом деле ни разу даже в немца не выстрелил, первая же бомба меня нашла. Просидел дома дней пять или шесть, очень наскучило это сидение. Встал, взял свои костыли и пошел к Манане Георгиевне. Снег вот такой же, как сейчас, и вроде бы тепло. На мне шинель, туго перетянутая широким ремнем, на одной ноге сапог, на другой калоша, и раненая голень тепло обмотана материнской кашемировой шалью. Сперва шалью, а поверх нее обмоткой. Весу во мне едва пятьдесят шесть кило. Иду легко, но осторожно. Поднялся к Манане Георгиевне, она оказалась дома. Сам знаешь, что такое война: очень на ней сказались эти полтора года, как-то она поблекла, побледнела, серая какая-то стала: и лицо, и волосы. Увидела меня, всплеснула руками: «Ой, бедный мой мальчик!» — и в слезы. Все трогала мою ногу и спрашивала: «Больно? Больно?» «Нет, — отвечал я, — не больно», — смеялся. И знаешь, что она тогда сделала? Перекрестилась. Можешь себе представить, что это было в те годы для учительницы — перекреститься! Крестилась и что-то шептала по-французски — чтоб я не понял.

Потом говорит: «Как раз сегодня мне принесли дрова» — и подкладывает в печку. Тогда создали какие-то отряды содействия и помощи, они и дрова принесли, бывшие ее ученики.

«У меня, — говорит, — есть тыква, давай мы с тобой ее сварим». Вытащила из-за шкафа большую желтую тыкву, нашла секач. Что оставалось делать? Взял я у нее секач. Расстелили на полу газету, положили тыкву, и только я разок хватил по ней, как в дверь постучали.

Манана Георгиевна пошла открыла, слышу — заулыбалась: «Входи, входи...» Вошла девчонка, маленькая — лет четырнадцати или пятнадцати. Видал светловолосых кахетинок? Скуластых, плотных, светлоглазых, с распылчатыми чертами и с выгоревшими бровями? Посмотришь — вроде как русские, да нет, не русские: но носы курносые, а когда смеются, глаза почти закрываются и из щелок тонко поблескивает влажный и мягкий свет.

Манана Георгиевна познакомила нас: «Это мой старый ученик, а это моя новая ученица». Девчонка показалась мне настолько маленькой, что я не встал и даже руки ей не подал. Чуть приподнялся, кивнул и про-

должал азартно разделять тыкву. Как сейчас помню: на девчонке был серый полушубок, заячий, с вытертыми рукавами. Она скинула полушубок, сняла белую шапочку домашней вязки, подошла и смело опустилась передо мной на колени, стоит и светит глазами, интересно ей, что я делаю и как. Я сказал, чтобы не торчала перед носом, отошла в сторону. Перешла, устроилась сбоку, рядышком, все так же на коленках. Я тыкву на дольки режу, а она смотрит на меня и расспрашивает. И знаешь, что ее больше всего интересовало? Видел ли я вблизи живого немца, и второе, жалостливо сморщившись: «Очень было больно, когда вас ранило?»

Вообще женщины часто об этом спрашивали. Нетрудно догадаться, как я отвечал на ее вопросы. Я много о себе понимал тогда и как милостью коротко бросал ей «да» или «нет». А она уже не знает, с какой стороны ко мне подступиться. Поджарила тыквенные семечки, ссыпала на тетрадку, принесла. Манана Георгиевна достала фрукты и водку, выпила рюмку. «Чтобы благодать родного дома охраняла наших солдат». И мне налила. И девчонке велела здравицу сказать, но предупредила: «Только ты не пей!» А девочка и здравицу сказала, и рюмку хлопнула. Манана Георгиевна ужаснулась: «Это еще что такое? Ты что наделала?» Тогда девочка встала — вся покрасневшая, щеки так и полыхают. «Не сердитесь, — говорит, — на меня, а я за это стихи почитаю». Попятилась назад, к стенке, сцепила руки перед собой и, как малое дитя, с наигранным простодушием и наивностью прочитала: «С посторонним мужчиной я очень застенчива, ни за что с ним не лягу, сэр! Мамочка сшила мне красивое платье, и, если вы меня обнимете, ведь оно помнется, сэр!.. Прошла осень, пройдет зима, настанет весна, весной я уже буду большая, тогда приходите и возьмите меня в жены, сэр!» Это стихи какого-то английского поэта. Прочла, подошла к столу и села. Что нам оставалось делать — похлопали, и Манана Георгиевна, и я, но в глубине души не понравилась мне ее бойкость, к тому же выяснилось, что она дочка директора школы, в тот год переехавшая к нам из Тбилиси. А она прочитала еще одно стихотворение, на этот раз наше, народное, его и я знал наизусть, прочитала с интонацией хевсурки-горянки: «Словно глаза безгрешные, тихий рассвет пришел, влажны пески прибрежные, красен рубахи шелк. Ворон при виде красного каркала и ликовал. Падал на грудь несчастного, сердце клевал, клевал...» — и после сидела словно и впрямь опечаленная, с тихой грустной улыбкой. Манана Георгиевна потрепала ее по голове, поцеловала. Сварилась наша тыква, мы ее выставили за окно, чтоб скорее остыла. Тыква оказалась замечательная, и сейчас помню ее вкус. Отведали тыкву, и я встал, собрался идти домой. Манана Георгиевна сказала: «Идите вместе, вам по пути». Мы попрощались и пошли.

Ночь, снег идет, мы шагаем рядом, и она все говорит, говорит, заглядывает мне в лицо в белом отсвете снега и спрашивает: «А вспышки над вершинами Кавкасиони вроде зарниц, это и впрямь от пушек?»

Я пожимаю плечами. Она боится, как бы я не упал, спрашивает: «А костыли под мышками не натирают? Не больно?»

Дошли до ее дома, мне идти дальше. Она вызывается проводить и смотрит то на костыли, то мне в глаза заглядывает — жалеет очень. У меня лопнуло терпение, я оперся потверже на костыли, обернулся и как рывкнул: «Ну-ка, детка, живо дуй домой!» Разок взглянула на меня оторопело, обиженно, повернулась, побежать не побежала, но пошла так, что снег заскрипел под ногами. Я тоже пошел своей дорогой.

Кончился тот отпуск, и меня опять отправили на фронт. Когда я вернулся, ты знаешь.

После того я видел ее еще один раз — лет десять назад. Удивительно, но я сразу ее узнал. Я встречал сухумский поезд — на нем она и приехала. Какая женщина!.. Вообрази себе тигрицу или пуму в солнечном зареве — величественная и чуточку грозная! Перед ней бежали два тигренка — крепкие, загорелые, смелые мальчишки.

И сама вся коричневая от загара.

Тьфу! Всю свою молодость мечтал о подвигах и о героизме, а тут ни заговорить не посмел, ни даже показаться...

СОДЕРЖАНИЕ

Ртвели. Перевод Ал. Эбаноидзе	3
Тебро. Перевод Ал. Эбаноидзе	7
Две колдуньи. Перевод Ал. Эбаноидзе	12
Товла. Перевод Ал. Эбаноидзе	17
Сихарула. Перевод К. Вольфензон	23
Режут свинью. Перевод Ал. Эбаноидзе	26
Дорога к материнскому дому. Перевод Ал. Эбаноидзе	34
Непутевые. Перевод Ал. Эбаноидзе	35
Крепыши. Перевод Ал. Эбаноидзе	37
Старая грузинка. Перевод Ал. Эбаноидзе	41
Белый ответ снега. Перевод Ал. Эбаноидзе	44

Реваз ИНАНИШВИЛИ

БЕЛЫЙ ОТСВЕТ СНЕГА

Рассказы

Редактор В. П. Енишерлов

Технический редактор Т. Е. Авдеева

Сдано в набор 21.12.87. Подписано к печати 08.02.88. А 10314. Формат 70 × 108¹/₃₂.
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10.
Усл. кр.-отт. 2,28. Учетно-изд. л. 3,26. Тираж 150000 экз. Зак. № 1788.
Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина
на издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.